

Инна МЕЛЬНИЦКАЯ.
Повесть «Украинский эшелон».

Как свидетельствует редакционная почта, многим нашим читателям понравились стихотворения Инны Мельницкой, опубликованные в №7 за этот год.

И вот — новая встреча, и, думается, проза талантливой писательницы из Харькова вызовет еще больший интерес.

Также известна Инна Мельницкая как переводчик. В течение многих лет она преподавала на факультете иностранных языков. Харьковского университета английский язык, сопоставительную стилистику, вела спецкурс теории и практики художественного перевода, руководила студией, воспитавшей большую группу профессиональных переводчиков поэзии и прозы.



Инна МЕЛЬНИЦКАЯ

УКРАИНСКИЙ ЭШЕЛОН

Повесть

Шестнадцать шагов вперед, шестнадцать шагов назад по неширокому проходу — вот все, что тебе осталось. Взад-вперед, взад-вперед, и нет для тебя иной дороги — разве что у дверей, где кончаются нары, повернуть и отсчитать восемь шагов от параша до бачка с водой — и обратно. Вперед-назад, вперед-назад — шестнадцать мелких, экономных, медленных шагов в ожидании окрика: «Да угомонись ты наконец! Не мотайся — в глазах рябит!»

Кто сказал, что в тюрьме небо в клеточку? Где оно, это небо? На мопровских плакатах «Свободу жертвам фашизма!» мускулистый рабочий гневно грозит кому-то сквозь тюремную решетку узловатым кулаком. Лицо у него скуластое, яростное, он кричит широко открытым черным ртом...

Оказывается, в жизни все иначе. Никто не увидит твоего лица, даже если ты, рискуя попасть в карцер, встанешь на батарею и подтянешься, уцепившись за прутья решетки. Кто увидит его за деревянным коробом, которым забито окно? Кто услышит твой крик?

Вчера в камере наискосок кто-то стал барабанить в «кормушку», биться кулаками и телом в окованные железом двери... Что он кричал, ты помнишь? Ты помнишь, что он кричал? Залязгали затворы, затопали сапоги, забежали коридорные надзиратели — а он все не унимался: «Расстреляйте меня, я больше не могу так жить! Я же бил фашистов — за что меня тут держат свои? Вместе с полицией — за что?» И снова: «Расстреляйте меня, я больше так не могу!..»

А потом это был уже не крик, а вой — непрерывный, насадный, звериный вой, страшно умноженный эхом длинных коридоров и железных лестниц. Нарушителя порядка куда-то тащили, он выл и кусался — слышно было, как бранились надзиратели; затем все стихло, и стало еще страшней, потому что крик звучал уже не в коридоре — он звучал в твоём мозгу, он рвал твоё сердце — и все в тебе кричало тоже: расстреляйте меня! Я больше не могу так жить!..



А наутро раздатчицы хлеба передали: тот, из камеры наискосок, наверное, рехнулся — поместили в лазарет.

...Шестнадцать вперед, шестнадцать назад...

Только бы не сойти с ума, только бы не сойти с ума, как он! «Свободу жертвам...» А ты — чья ты жертва? Кто скажет, чья воля забросила тебя в этот каменный мешок? За что? «Я же бил фашистов!...»

Шаг, два, три... семь, восемь... Что же делать? Что делать, чтобы пережить это, чтобы выдержать — и не сойти с ума? Как понять, как найти оправдание тому, что ты здесь? Или больше нет справедливости и все рушится на свете?

Погоди. Погоди — давай вспомним, давай переберем все сначала. Может быть, что-то станет понятней, может, как-то станет легче?

Вспоминай! Вспоминай шаг за шагом и день за днем — как это было?

...Дорогу развезло. Усталую полуторку нещадно швыряло; при каждом особенно сильном толчке шофер вполголоса облегчал душу.

«Растрясет ведь, — с тоской думала Тася, — как пить дать, всех растрясет — что делать буду?»

На пригорке машину круто повело и бросило в сторону: рыча и содрогаясь, разбрасывая комья грязи и талый снег, она барахталась как живая, все глубже зарываясь в разъезженную колею.

— Все, приехали! — шофер длинно выругался и заглушил мотор.

Тася соскочила с крыла и запрыгала, разминая затекшие ноги, хлопая себя по бокам озябшими руками. Подобранные по дороге раненые «черепники» нехотя вылезали из кабины.

— Сестра-а, — тягуче и плаксиво позвали из кузова.

Она оглянулась на шофера — тот махнул рукой: «Ладно, полезай, надолго сели».

Молоденький, с испуганным лицом, откинул с плеча шинель: повязка под шинелью влажно краснела. Растрясло-таки!

— Родненький, потерпи до села! У меня и бинтов-то нет — только лигнин...

— Ага, потерпите, мальчик. Сейчас няня сменит вам штанишки и растопит камин, — мрачно усмехнулся боец, по шее упакованный в гипс, сворачивая самокрутку затейливо татуированными руками. — По такому случаю, сестричка, дай прикурить: вон у того, рыжего, зажигалка есть. От него, правда, от самого прикуривать можно, но это процесс долгий — или мы располагаем временем?

Непослушными руками Тася крутит колесико зажигалки, подбинтовывает лигином сочащуюся кровью повязку — а что еще можно сделать на таком ветру?

— Ничего, сестричка, не расстраивайся, потерпим, — устало утешает другой. — Далеко еще? К ночи доедем?

— Хрен доедешь, — ругнулся шофер, сплевывая обжигающий губы окурок. — Давай, сестра, приложись — толкайте по команде. Попробуем вырваться.

Тася и едва живые «черепники» с ненавистью упираются в костлявое тело полуторки. Снова и снова осатанело взывает мотор, колеса пробуксовывают, летят ошметки грязи, машина дрожит, рыча и захлебываясь, ноги отъезжают в тяжелой глине, тянет горелой резиной — и ни с места! Хоть бы кустик какой,

хоть бы камешек — под колеса ткнуть — оно ж, как коленка, голое, это поле!

Один из «черепников», оступившись, бледнеет и нехорошо заводит глаза.

— Помощнички, едрена вошь, — безнадежно отмахивается шофер. — Ползайте уже сами. Сдвинусь — подберу...

«Черепники», виновато покашливая, зашлепали по грязи, оглядываясь на ходу...

И все повторяется — стоны и брань, покрывающий их рев мотора и липкие комья, летящие в лицо...

Шофер в сотый раз вылез из кабины, обрывая пуговицы, рванул с плеч телогрейку — эх, твою дивизию! — и швырнул ее под колеса. Где-то подоткнул, подмял, согревая себя матерками, снова взревел мотором — и вдруг, словно удовлетворившись принесенной жертвой, машина качнулась, вывернулась бортом из-под рук, вильнула задом и пошла.

— Пошла, пошла, едри те в корень! — дурным голосом завопил кто-то.

Раскачиваясь, как хромая утка, полуторка заковыляла по грязи.

— Пишите письма, — повеселев, крикнули сверху.

Отъехав от гибельного места, шофер притормозил, поджидая. Блаженно расправляя пудовые руки и ноги, Тася умостила на сиденье, откинула голову — не тут-то было! В меркнувшем сереньком свете впереди замаячили унылые фигуры «черепников».

Шофер сочувственно покосился воспаленными, в красных прожилках, глазами:

— Подберем, что ли? Или пусть сами чапают?

— А куда денешься... Подберем... — устало откликнулась Тася.

Ох, как не хотелось снова вылезать на крыло, как горело исхлестанное ветром лицо, как покалывало иголками отогревающиеся руки и ноги... Но эти двое — далеко ли они уйдут пешком?

— Эй, чудо-богатыри, садись!..

И снова морозный свист в ушах, ломота в оледенелых пальцах и мучительное, неодолимое желание разжать руки и плюхнуться в разъезженную перину дороги — спать!..

— Слышь, сестренка, — как тебя? — не дотянем мы до Волчанска. Бензин на нуле.

Бензин на нуле...

А небо сереет, съеживается, и мартовский денек-подросток гаснет, уступая холодным сумеркам. Простуженно чихает и умолкает мотор, и Тася спрыгивает на уже хрустящую лужицу: бензина нет.

— Такое дело, — говорит водитель, вытаскивая откуда-то из-под сидений пустые канистры. — Такое дело. Надо идти...

Идти — куда? А их как оставить — зябнущих, истекающих кровью, когда раны так болят на холоде, когда близко ночь и непонятно, далеко ли еще до Волчанска?

— Недалеко, километра три-четыре. Может, за час обернемся...

Робко, пересиливая себя, Тася подтягивается, заглядывает в кузов. Она уже почти не различает лиц, не видит, как они на нее смотрят.

— Ребята, нам за бензином надо. Бензина нет. Родненькие, мы скоро — шофер говорит, тут недалеко уже. Потерпите, мои хорошие!..



— Сволочи, драпать задумали! — неожиданно обрушивается на нее визгливый плачущий голос. — Свою шкуру спасаете — а нам, значит, пропадай? За бензином, как же — нашла дураков!

— Честное слово, — лепечет Тася в отчаянии.

Не верят! Не верят же!

— Иди, сестра. Иди спокойно, — шелестит сипловатый басок. — Дождемся, не разбежимся.

...Шофер идет крупно, не оглядываясь, сутуля широкую спину — холодно ему! Телогрейку-то так на дороге и оставил. Конечно, куда ее теперь... Тася торопится, старается приноровиться к его размашистому шагу — где там! Фигура впереди исчезает, растворяется в темноте. «Черепников» тоже не слышно — отстали. Никого! Тася вскрикивает от страха — и голос откликается неожиданно близко: не отставай, держись!

Впереди, сразу справа и слева, вырастает что-то бесформенное, черное; в глаза ударяет узкий сноп света:

— Стой! Кто идет? Пароль!

...В комендатуре горел свет — керосиновые лампы? Или, может, работал движок? Разве вспомнишь теперь... Свет был желтый и слабый, тени большие и тяжелые. За столом сидел худой, черноватый командир — звания было не разглядеть, — и шофер опять, в который раз уже, повторял: дайте бензину, машина там, люди там...

Тот, что за столом, повертел Тасин «аусвайс», развернул справку, выданную госпиталем, и, откинувшись назад, пожал плечами:

— Документы — один другого лучше: один — немецкий, другой вообще филькина грамота — ни печати, ни штампа. Вот это что, по-немецки написано? Это как понимать?

— Это вместо паспорта давали — кто работал. «Персональ аусвайс» называется. Удостоверение, что ли. «Собака картка» в народе...

— Персональное, значит? «Собака картка», говоришь? Ничего себе, «собака картка»! На немца, значит, работала? — выдвинулся задержавший их патрульный. — Кем работала?

— Так там же написано — «альс курир». Курьером работала...

— Хороша птишка — а такая, гляди, молоденькая! Курьером была, ишь ты! Персональное удостоверение имеет! В особый отдел их — и весь разговор. Пусть там разбираются.

— Ну что ты раздухарился, Шатров? Что такое курьер — ты хоть знаешь? Рассылный это, старший-куда-пошлют — тоже мне фигура!

— Ну, так бы и писали, — смущенно бормочет Шатров.

— Ну, ладно, а это? «Выдана в том, что такая-то работала в таком-то госпитале младшей поддежурной медсестрой с 17 февраля по 12 марта тысяча девятьсот сорок третьего года». Подпись — дежурный врач. И каракуля. Ни печати, ни штампа. Сама себе написала, что ли — так хоть из картошки печать бы приклепнула!..»

— Так не было же печати, и штампа не было! Ничего не было! Начальник госпиталя и комиссар со всей канцелярией еще вчера ночью уехали. Никого не осталось — только раненые да мы, вольнонаемные...

— Ты что, девка, — офонарела, что ли? Это как получается — они госпиталь бросили и сами по себе драпанули?!

— Ой, да откуда я знаю! Нам не до того было — тифозный госпиталь разбомбили, мы раненых таскали!..

Тасе стало казаться, что все это дурной сон. Такое бывает — на перемену погоды. Надо проснуться, стряхнуть с себя наваждение, и все будет в порядке, все — как надо. Главное — проснуться!

Она отстранила патрульного — так, входя в воду, рукою неспешно отводишь водоросли — и громко, с нажимом, словно глухому или непонятливому, — а может, чтобы окончательно прийти в себя? — сказала, дивясь собственной наглости:

— Послушайте, это же несерьезно — при чем тут какой-то особый отдел? Они же там в гипсе, на холоде — вы что, не понимаете? Они же беспомощные! Ну, пошлите с нами автоматчика — мы же безоружные, пусть застрелит нас, если врем; только дайте бензину — нельзя же так!

Все замолчали. Шофер уставился на нее, будто она вдруг выскочила перед ним, как чертик из табакерки. А черноватый командир вдруг хлопнул ладонью по столу и рассмеялся:

— Действительно — чего проще! Давай, Четвериков, скажи Сагалаеву — пусть нальет им канистру. И проводишь. Гляди же, — командир неожиданно подмигнул Тасе, — гляди, если врут, и машины нет — пристрелить! А ты пока сядь, посиди... И откуда только ты взялась, такая шустрая?

Тася шагнула за пределы масляно-желтого светового круга и вяло опустилась на казенную деревянную лавку. Тени по стенам укорачивались и удлинялись, голоса то глохли, то начинали звучать неестественно громко, то удалялись, то приближались... Спать...

— Сморило беднягу. Просыпайся, пошли, сестренка!..

И снова ночной мартовский холод, пронизывающий твое худое пальтишко, твое голодное, усталое тело, и хруст замерзших луж и лужиц, и крепкие шаги шофера, и красный огонек сигарки — это сопровождающий...

И вот уже откуда-то из темноты голоса, и черный кузов машины, и обмирающий выкрик:

— Братцы, идут! Не я буду — вертаются!

Тася карабкается в кузов, навстречу ей выплескиваются возгласы:

— Пришла! Сестричка, роденькая, пришла!..

— Господи, да неужто вы думали?... Ребята...

Тася трогает набрякшие повязки, натягивает худые солдатские одеяла на ледяные панцири гипсовых доспехов:

— Ближе уже, совсем немножечко, потерпите еще чуточку. Сейчас приедем, милые...

— Сестра, — кричит снизу шофер, — слезай, поехали!

...— Приехали! Открывай борт!

В тусклом синем свете санитары в стеганых фуфайках, в ватных брюках, с носилками.

— А ну, посторонись! Кто сопровождающий? Комсостав, орденосцы есть?

— Я сопровождающая, — устало говорит Тася, разминая окоченевшие пальцы. — Есть комсостав. И орденосцы тоже есть. Отдельно их, что ли?

— Ясное дело, отдельно. Кто ходячие?

— Откуда, парень, ходячие? — сердится шофер. — Ты что — с луны свалился? Ходячие давно пешком ушли. Наши все в гипсу, как куклы.

— Ничего себе, куклы! А ты-то сам чего стоишь? Бери носилки и тащи — кто за тебя твоих кукол таскать должен?

— Дак не санитар — шофер я!

— Тут все санитары — берись и тащи. Тут одного гипсу в каждом по пуду — кишки надорвешь, рожать не будешь!

— Рожать тебе — ты че, баба, что ль?

— Ага, была баба, а нынче рядовой. Пошли давай!

— Пойдите, — спохватывается Тася, окликая темноту, — куда вы их?

— Комсостав — на Ленина, рядовой и сержантский — в сортировочную...

...Такое помнилось Тасе из детства. Всякий раз, когда случалось тяжело заболеть, ей снился один и тот же сон. Были какие-то изменения в деталях, но началось всегда одинаково: огромное, тускло освещенное вроде бы подземелье — и только где-то высоко, в дымно-багровой полутьме угадываюся тяжелые темные своды. Плотнo спрессованная, смутно различимая толпа — затылки, затылки, затылки, придавленные незримой тяжестью плечи и приглушенный гул голосов...

В огромной, как вокзал, сортировочной — а может, это и был вокзал? — густо, на полу, на носилках сидели и лежали раненые. Где-то здесь еще должны быть свои — и Тася искала, бродила между носилками, заглядывая каждому в лицо. Иногда в полумгле возникали тусклый лик беспамятства, наваждение бреда, иногда — неожиданно веселый взгляд записного балагура, иногда — заострившиеся черты, уже тронутые строгим спокойствием конца. То и дело слышалось: «Сестра, пить!» или «Сестренка, прикурить бы...» Наконец таки повезло: набрела на своего. Присела на корточки, гладила руки, говорила какие-то ласковые слова — то ли его успокаивала, то ли себя — словно ладонью заслонялась от нахлынувшего одиночества...

Задремала, приткнувшись, как сорока на колу — разбудил ломкий, шершавый голос:

— Ты кто такая? Что тут делаешь?

Подняла глаза: нелепая фигура в халате поверх ватника, провалья глаз на темном лице.

— Здесь, девочка, госпиталь. Посторонним нельзя, уходи.

А ты разве посторонняя? Если ты здесь посторонняя, так где же ты своя?

— Раненых, говоришь, привезла? А где они? Сдала — так что же не спросила, куда тебе? Эко, непутевая! Ну, ладно — айда, отведу!

...Синие улицы, черные тени, хруст шагов...



— Ты чо тут? Иди давай на свое место. Не слышишь — баланду носят? Тикай отсюда!

И правда, носят. Вот уже мисками стучат под дверь. Гупает тяжелое — это бадья. Щелкает кормушка. Промельком — лицо охранника:

— Дневальные, принимай! Сколько в камере?

Дневальные — с нар горохом: тут нужна ловкость. Раздатчики (это всегда уголовники) швыряют миски парами и счет ведут по две: две, четыре, шесть, восемь... Дневальные мухлюют, пытаются повторить ту же цифру дважды — авось пройдет:

— Значит, это будет восемь...

— Я тебе дам — восемь, — лениво грозит раздатчик.

Иногда раздатчики попадают хорошие и сами повторяют, подыгрывая:

— Две, четыре, четыре, шесть...

Или начинают быстро, без счета, кидать миски, пара за парой (значит, отошел охранник) — а потом, как ни в чем ни бывало, возобновляют счет:

— ...десять, двенадцать...

Раздача заканчивается, захлопывается кормушка; лишние миски быстренько делят. Если их одна-две, то дневальные делят между собой, если больше — разливают на всех или кому захотят.

Теперь задача дневальных — не подвести раздачу, возвращая миски обратным счетом, будто бы по числу заключенных в камере. Не дай Бог, обнаружат в камере лишнюю миску!

Если раздают строго по счету и смухлевать надежды нет, дневальные начинают канючить:

— Дежурненькие, дневальным — дневальным, а?

Бывает, попрошайке повезет: черпак нырнет поглубже, и в миску плюхнется пара картофелин или баланда погуще, со дна. А бывает — плеснет с издевкой одну жижу: на, умойся!

Спорить нельзя. Спорить не положено — хуже будет!

Баланду носят в больших деревянных бадьях. В ушки бадьи продевают палку — без палки она неподъемная. Если раздачу начинают с этого края, ждать приходится недолго, зато баланда достается сверху, жидкая; если же с противоположного — баланда погуще, но приносят ее поздно, и, пока очередь дойдет до твоей камеры, она, бывает, уже начинает пузыриться. Бадьи, наверное, плохо моют — они ведь деревянные.

Все равно ешь — другой ведь не дадут, и миска — ох как быстро она пустеет!..

... — Тут вот каши немножко — от раненых осталась. Холодная, правда. Может, поешь, а? Голодная, поди, — целый день ведь в дороге. А мисочку потом в дежурке поставишь. Ну, а спать уж и не знаю, где тебе. Раненых повезли — все забито...

Лицо у санитарки круглое, мягкое, рыжие брови и ресницы, и неожиданные в светлых ресницах карие глаза.

Уплетая холодную кашу, Тася благодарно кивает. Каша какая-то черствая, пшено горькое, сорное, но Тася и на это не надеялась и счастлива, что наконец в



тепле и ест — в первый раз за этот сумасшедший день... Хотя, наверное, уже далеко за полночь и день уже начался новый.

Рыженькая отводит ее в каморку, где стоит, неизвестно зачем, огромная ванна, накрытая досками:

— Вот тут переночуешь. На вот, постели, а то укройся, — и сует ей пахнущую дымом видавшую виды телогрейку.

Не раздеваясь, Тася валится на шершавые доски, уткнувшись носом в чужие запахи. Сон бродит вокруг нее, плутает, куцее пальтишко все время сползает, открывая то плечи, то ноги, дощатый плотик качает ее, и все повторяется, и летит из-под колес грязь, и стонут в кузове раненые; но вот уже топают в коридоре чьи-то шустрые ноги, и грохочут, падая на пол, дрова, и звякают ведра, и в темноте уже рождается день, а она еще и подумать не успела, с чего начать его, как быть, куда определиться.

Пригоршни холодной, с хрусткими льдинками, воды не бодрят, а только возвращают ночную зябкость. Вчерашняя улыбчивая санитарочка ласково протягивает Тасе дымящуюся кружку: на, попей, отогрей душу! Хорошо, что кружка большая, не то жестяная, не то алюминиевая — славно согреваются ладошки и как-то теплеет внутри. И Тасе становится смешно: наверное, душа и вправду квартирует где-то рядом с желудком, раз ей теплее от кружки кипятка.

— А тебя там спрашивают, — запихивая в топку голландки темные поленья, говорит нянечка. — Раненный один, нацмен. Говорит, ты их привезла. Пойдем — провожу...

В палате, небольшой и уже посветлевшей, навстречу ей поднимается, трудно отрываясь от подушки, темная голова. Крутые желтые скулы, гладкие веки, светлыми скорлупками прикрывающие глаза: Ташабаев, так, кажется, — командир танкового батальона, орденоседец, закованный по грудь в гипсовую броню.

— Хорошо ли спала, сестра? Позавтракала? Накормили тебя?

За нее отвечает рыженькая. Желтые скулы Ташабаева загораются бурым румянцем гнева:

— Безобразие, понимаешь! Девчонка целый день на морозе, не ела, не пила, нас спасала — а до нее, понимаешь, никому дела нет!

Тася успокоительно бормочет, что так уж получилось, и ничего страшного, сама виновата: с вечера разгружали, таскали, размещали, а потом все куда-то делись, и шофер тоже — она и не заметила, как и куда. Вот прибилась сюда, и все нормально. Что дальше? Нет, еще не знает, что дальше. Может, оставят при госпитале или дальше отправят, сопровождать?

Комбат не успокаивается, требует комиссара:

— Я сказал, комиссара ко мне!

Наверное, штаб госпиталя размещен неподалеку — приходит серый, невыспавшийся комиссар и с усталым раздражением пододвигает к койке белый табурет: ну, в чем дело?

— Ты кто такой — комиссар, да? — высоким гортанным голосом, накаляясь, кричит комбат. — А это знаешь кто? Я этой девушке свой орден отдам — она заслужила, понимаешь? Целый день на крыле грузовика тряслась — гляди, какая маленькая еще! — нас спасала, а ее как собаку — никому не надо, да?



Комиссар не сразу понимает, а поняв, пожимает плечами: ну, чего тут шуметь, спрашивается? Ну, распоряжусь, чтобы накормили — великое дело! — и пусть идет себе с Богом. На попутке доедет.

— Куда доедет, что говоришь?

— Как куда? Домой!

— Да нет у нее дома, нет — понимаешь? Нету дома — немец там!

Комиссар поднимается с табуретки, трудно, не сразу, разгибаясь, хлопывает карманы и, найдя, что искал, пишет что-то на клочке бумаги:

— На, пойдешь в столовую, накормят тебя, а там зайдешь, подумаем, что с тобой делать.

Ташабаев успокаивается, опускает на подушку напряженный затылок и удовлетворенно прикрывает глаза.

Комиссар, не удержавшись от вздоха облегчения, тяжело шагнул к двери, с неприязнью оглянулся на Тасю.

В столовой Тася блаженно вылебала миску борща, поела той же пшенной каши, только горячей, еще дымящейся влажным жаром плиты, и, чуть охмелев от непривычной сытости, отправилась искать комиссара. Все будет хорошо; сейчас он ей скажет: «Остаешься в госпитале. Иди, получай обмундирование».

На пороге штаба Тася остановилась, повела плечами, словно оправляя воображаемую гимнастерку, и, предвкушая то радостное и значительное, что сейчас произойдет, толкнула дверь.

Комиссар — он стоял у стола, надсадно выкликая кого-то по телефону, — смутно взглянул на нее:

— А-а, эт-ты? Накормили? Ну, ладно. Иди теперь. Домой иди, не до тебя тут.

— Так немцы же! — пискнула отчаянно Тасина душа.

— А-а, — отмахнулся, — отбили немцев, — и, забыв о Тасе, снова закричал в телефон.

Вышла за ворота с ощущением зыбкой неопределенности, побрела на улицу Ленина — советоваться? прощаться? — но постепенно душа, которой совсем тепло стало от соседства борща и каши, начала чирикать, как угревшийся на солнце воробей: домой! отбили!

Весело — отбили же! — простилась с Ташабаевым, с рыженькой нянечкой и вышла на улицу, на дорогу, где тонкий ледок уже успел превратиться в мелкие веселые лужицы. Домой!

Ночью казалось — вроде бы и сел на шляху не было, а тут, говорят, идти ей через Веселую, Нескучную, Терновую... Такие названия — ноги сами просятся! А солнышко, еще слабое, неуверенное, заглядывает Тасе в лицо, как озорной щенок...

...Наверное, так короче: полем, ярами — дорога грунтовая пуста. Местами — лед, слежавшийся ноздреватый снег, уже напитавшийся водой, местами — нахальная рыжая глина. Ноги разъезжаются, вязнут, но Тася не унывает, ей хорошо, потому что неугомонно чирикает отогревшаяся душа, и Тася, заражаясь, тоже начинает мурлыкать бог весть откуда привязавшуюся песню: «Катя, Катюша, подружка моя, помнишь ли знойное лето это? Разве могли мы с тобой позабыть все, что пришлось пережить?»...

Все, что пришлось пережить...



С лязгом открывается кормушка:

— На прогулку — выходи!

Суетливо соскакивают с верхних нар, толпятся у двери, в тесном пространстве между нарами и парашей. Самые нерасторопные — Тася среди них — осторожно, чтобы не наступил кто, выползают из-под нар, отряхивая сыплющийся сверху мусор.

В коридор — строем по одной, руки назад — «Разговорчики!». Тася и Зина Зорина — тоже не из локтевитых — конечно, в хвосте. Впереди, в конце коридора, грохочет решетка. Разводящий стучит ключами в решетчатую дверь, по тюрьме раскатывается резкий металлический звон. Это на тот случай, если навстречу ведут еще кого-то — тогда встречающих должны поставить лицом к стене, чтобы не могли узнать друг друга, обменяться словом или знаком. Но путь свободен, от дверей до дверей. И снова решетка, и снова пение замка, и лестница, затянутая стальной сеткой вместо перил, чтобы никто не бросился в пролет головой... Видишь, как берегут твою жизнь — ты ей уже не хозяйка. И опять лязг решеток, звон дверей и замков, и наконец прогулочный дворик — пустынный прямоугольник с высоким каменным забором, с редкими травинками на выбитой земле и вышкой на углу. Дозорного, который стоит на вышке, Маруся Купина называет «вертухай» — то ли сама так придумала, то ли слышала от кого-то? Это потому, что он все время вертится, все оглядывается по сторонам. Такая у него служба — смотреть по сторонам. Вертухай бывают разные — иногда даже добрые. Тот, что сегодня, — добрый, не кричит. Синеглазая Евгения Михайловна, встречая взгляд вертухая, кокетливо ерошит отрастающий ежик русых волос, искренно улыбается и жестом просит закурить. Это уже наглость, и Тася замирает в ожидании окрика, но вертухай отворачивается, будто ничего не заметил, а когда они по второму кругу снова доходят до угла с вышкой, словно бы невзначай роняет зажженную папиросу. Евгения Михайловна молниеносно подхватывает ее и, пряча в кулак, блаженно затягивается. Сзади кто-то завистливо ругнулся, но она не обращает внимания. Щеки ее от глубокой затяжки западают, глаза мечтательно шурятся, и она вдруг становится разительно похожей на какую-то актрису «из той жизни» — Тася не может вспомнить, какую. Еще круг, и вертухай опять уже смотрит на них, и Евгения Михайловна благодарит его мохнатым васьковским взглядом. Дворик чисто выметен, больше под ногами ничего нет, как ни высматривай, и прогулка заканчивается без происшествий.

...На обратном пути Тасю приняла на ночлег нестарая еще женщина — но ничего о ней не помнит Тася. Помнит только чугунок с пышной, белой — молочной! — кашей на добела выскобленном столе. Удивительно, какое пшено бывает разное — в госпитале и здесь. Здесь оно просто тает во рту... И сон на печи, на пышной пуховой подушке — последняя твоя постель, Тася...

По ранней дороге ее догоняет красноармеец — такой свой, такой молодой и веселый, с ясным, чистым лицом. Часа два, а может, и три они идут, болтая, словно домой из школы, и кажется — нет никакой войны. Но Костя — его зовут так, и Тасе это нравится, — Костя говорит, что в Харькове немцы. Непонятно: ведь комиссар сказал — уж кто-кто, а комиссар знает!..

А потом дорога разветвляется, Тасе прямо, а Косте направо. И оттуда, с развилки, подъезжают двое верховых. Наверное, они из Костиной части: о чем-то говорят, негромко и серьезно, и вот он еще не повернул, еще не попрощался, а уже не с ней, уже удаляется, удаляется — и как будто тучка наплыла, становится холодно и неуютно...

Пошарив по карманам, помусолив химический карандаш, он пишет ей на клочке бумаги свою полевую почту и теперь уже насовсем уходит, и Тася чувствует, что он, хотя и оборачивается, и машет ей на ходу рукой, уже весь устремлен туда, куда не спеша, трусой, отъехали те двое — он уже на войне...

Дорога спускается в долину. На раскисшем глинище — кучка желто сияющих медных гильз. Или это патроны? Они большие, не винтовочные — Тася таких никогда не видела. Может, это снаряды такие? Какая разница между патронами и снарядами — величина? Патроны видела: винтовочные — в стрелковом кружке, пулеметные — в кино, а снаряды — нет, кажется. Только круглые пушечные ядра перед дворцом пионеров — бывшим Дворянским собранием...

Постояв с минуту — может, взять одну такую штуку, спросить потом у кого-нибудь? — она бредет дальше. И снова попутчики, на этот раз уже совсем взрослые, усталые и хмурые. Их двое, они неразговорчивы, только коротко спрашивают, а о себе — ничего. На вопрос о странных патронах отвечают вопросом: а тебе зачем? И Тася, утомившись, отвечает им тоже односложно и скучно, и отсыревшие драные бурки тяжелеют, и галоши с трудом вырываются из глины, и день устает, скатывается к горизонту, и опять надо проситься на ночлег. Солдаты приносят охапку соломы и валяются на пол, и Тася — тоже, укрывшись пальто и постелив под голову платок, чтобы не кололо щеки. Спать, спать, спать...

Зябнут ноги — пальто на них не хватает: укроешь ноги — начинают зябнуть плечи; кто-то из солдат сильно храпит, но сон неотступен, как голод, ведь столько бессонных госпитальных ночей позади... Тасе кажется, что она раздваивается — пока одна Тася борется с холодом, натягивает сползающее пальто, другую пеленает вязкий, тягучий сон: снова укачивает ее разбитая полуторка, вокруг мелькает грязный снег и рыжие глинища, где-то в дремлющем сознании дрожит огонек коптилки, от которой надо прикуривать толстые «козьи ножки», и от этого тяжело гудит голова...

Утром попутчики нехотя делятся с Тасей хлебом — хозяйка невесть куда запропастилась — и, не умываясь, уходят, и Тася бросается им вдогонку, вдруг испугавшись, что снова придется идти одной.

Идти с утра легко, дорога подмерзла, в ложине кое-где прячется морозный туманец, но вскоре выкатывается лучистое белое солнце, день проясняется, как замерзшее стекло, если на него подышать, дорога мягчает. Уже попадаются встречные, и перед Тасей и ее попутчиками открывается большое село.

— Ну, бывай, — равнодушно говорит один. — Мы пришли.

— А ты куда? — перехватывает другой. — В Харькове немцы. Ты к ним, что ли? Значит, так: стой тут, никуда не ходи.

Оббивая рыжие сапоги, они сворачивает во двор, где перед хатой переступают с ноги на ногу две гладкие гнедые лошади.

— Гляди, никуда!



Тася еще озирается в неопределенности, когда он выглядывает снова: давай, заходи!

В хате легонько тянет теплом от вытопленной печи. Молодой чернобровый командир поднимается ей навстречу, молодецкато оправляя гимнастерку с новеньким орденом на груди, косит на Тасю из-под роскошного чуба бесцеремонным веселым глазом.

— Кто такая?.. Сестра, говоришь?.. Откуда?.. А документы есть?

Тася выкладывает свои, однажды уже осмеянные, бумажки, скучно повторяет свою немудреную историю; парень то ли слушает, то ли не слушает, любуясь блеском своих узких, щеголеватых сапог, и вдруг, когда Тасин тусклый голос уже вот-вот готов совсем угаснуть, вскидывает горбоносую голову и отчужденно бросает:

— В Харьков, значит? К немцам? А через фронт как пойдешь? В Циркунах фронт. Циркуны знаешь?

Тася растерянно мотает головой, тоскливо и зябко поводя плечами. Как же так? Значит, Костя был прав, значит, Харьков действительно у немцев. Зачем же он обманул ее, комиссар этот? Зачем сказал, что отбили? Просто так не, подумав — лишь бы с глаз долой? А что же теперь? Как теперь быть?

— Возьмите меня в часть к себе, санитаркой возьмите — куда же мне теперь?

— Ладно, посмотрим на твое поведение, — многозначительно говорит чубатый.

Другой командир, постарше и как-то побудничнее, по-папиному устало подперев голову, из-под руки поднимает на нее глаза — не то с сожалением, не то осуждающе, как учитель, только что поставивший двойку в классный журнал. Вот сейчас он скажет: «Давай дневник!»

Но вместо этого он говорит:

— Погоди, Володя, — может, найдется там что-нибудь? Покормить бы сестру с дороги — вон как щеки затянуло!..

...Отчего так медленно-медленно, в мелочах, в подробностях, все вспоминается — не оттого ли, что так хочется сохранить в памяти последние дни, последние часы на воле? Как стояли во дворе, изредка подрагивая кожей, рыжие лошади, как особенно, остро все пахло: конскими яблоками, волглой соломой кровли и тающим снегом — во дворе и горячим лошадиным телом, кожей седел и сбруи да крепкой махоркой — в сарае, где веселые сильные парни чистили жесткими щетками лоснящиеся лошадиные бока и добродушно-снисходительно посмеивались над твоим невежеством:

— Во темнота! Разве ж то лошади? То ж кони!

А кони кивали, подтверждая их правоту, и переступали с ноги на ногу. И кто-то принес тебе целых полкотелка густого, как каша, супу. Суп был гороховый, с мясом; горох был вкусный, чуть сладковатый, уваренный, и мясо тоже легко разделялось на волоконца. Казаки сочувственно глядели, как ты ела, и ласково приговаривали — так, бывает, посвистывают, поднося лошади воду:

— Давай-давай, девка, работай — отвыкла, что ли? Рубай, пока харчи горячи!

А один, немолодой — за тридцать уже, наверное, — сноровисто резал толс-



тыми ломтями пахучий ноздреватый хлеб, прижимая буханку к груди, и бойко сыпал прибаутками:

— На-ко — режь да ешь, пока рот свеж!..

И Тася ела и улыбалась, по привычке бережно подбирая ржаные коричневые крошки, а солнце потихоньку пригревало, золотило солому, рассыпанную по снегу, сияло на гладких крупах дончаков, и главные два цвета были белый и рыжий: белый веселый снег и рыжая глина призьбы, рыжая соломенная кровля, рыжие кони. И Тася счастливо засмеялась, но ее тут же поправили:

— Да какие же они рыжие — тот, гляди, гнедой, а тот — каурый!..

Скрипнув форткой, гоголем прошел — как прогарцевал по двору — чубатый, горбоносый командир.

— Лихой у нас комбат, — с непонятной интонацией пробормотал скуластый рябой казачок.

Лихой комбат, не глядя, через плечо, окликнул Тасю, сдвинул кубанку набекрень и, не оборачиваясь, уверенный, что Тася послушно идет за ним, шагнул через порог. И Тася вошла — с солнечного двора в затененность хаты. На этом и кончилось все светлое.

Комбат, приосаниваясь, поскрипел-поиграл новенькими ремнями, прищурился на осколок зеркала и сел, положив руки на стол:

— Ты вот что, сестра, с казачками моими не очень-то — разговорчики, шуры-муры всякие — поняла?

— Нет, не поняла, — огрызнулась Тася строптиво. — А что плохого, если я с ними разговаривала?

— Ну, надулась! Это ж так — сначала разговоры, хиханьки да хаханьки, а там, глядишь, — обидят. И ты тоже — ты чего у них спрашивала? Оно тебе надо?

Вздор какой-то! С какой стати, спрашивается, эти ребята, такие простые, такие славные, вдруг ее обидят? И почему плохо, если они друг друга расспрашивали? Ведь вся страна на две части расколота — почти полтора года ничего друг о друге не знали...

Шумно ступая, вошел тот, похожий на учителя. С неудовольствием покосился на Тасю, сказал:

— На семнадцать ноль-ноль, Володя, — ты что же?

— Передай — заболел Куруленко. Зубы у меня, понимаешь, — прямо мочи нет. Наверно, даже температура поднялась, — для большей убедительности страдальчески сморщился и взялся за щеку. — Может, сестра полечит. Полечишь, а? Есть чем?

Тася виновато развела руками: шалфею бы или хотя бы соды...

— Ну, ладно, сам расстараюсь.

Вышел, скривившись, прикрыв ладонью щеку. Тот, что постарше, задержался, еще раз взглянул на Тасю, повнимательней, и негромко сказал:

— Слушай — нет, ты послушай, что я тебе говорю, — уходи отсюда. Надумала в армию — иди в военкомат, в Молодовую, здесь тебе делать нечего. И не задерживайся. — И непонятно добавил: — Оно, конечно, на ночь глядя... Хотя не знаешь, что хуже — смотри сама...

Досадливо крикнул, нахлобучил шапку и ушел, оставив Тасю в недоумении — то ли обидеться, то ли послушаться?..



И тут же, все еще держась рукой за щеку, в дверь шагнул комбат.

— Ушел душеспаситель? Ну вот и ладно. Не хочешь лечить — сам лечись, я такой! Во — видала?

Вытащил из планшета и развернул на столе газету — сложена так, что сразу в глаза бросается: через всю страницу — КОМБАТ ВЛАДИМИР КУРУЛЕНКО.

...На столе шкварчит яичница с салом. Комбат из фляги наливает в граненые стаканы: пей!

— Ой, да что вы! Я не буду, не могу — я же никогда...

— Да не ломайся ты! Тоже нашлась непьющая! Медички все пьют. Так что со свиданьем!

— Ну, сказала же, Господи, сказала же я: не буду!

— А не будешь — тогда брысь из-за стола! Нам непьющие не компания!

Ах, как пахла яичница!.. Глотая унижение и слюну, Тася лезет на печку, где лежит ее тощий вещмешок. Ничего: говорят, кто спит, тот обедает — вот только уснуть бы! Пусть он там хрумчит своими шкварками. О Господи, хоть бы не чавкал!

Но сон все-таки милосерден: он приходит, подползает, и уже хорошо, тепло, только давит щеку жестяная коробочка из-под чая, и тускло звякает в ней, когда Тася ворочается, главное ее сокровище — единственное, что успела захватить из дому: золотой нателный крестик с эмалью, бабушкино обручальное кольцо горячего, червонного золота, мамины опаловые сережки, да тоненький перстенок с опалом — все, что осталось ей теперь в память о папе, маме и бабушке, которой никогда не видела. Было еще — раньше — бабушкино кольцо с каким-то очень дорогим камушком; его не сдали в Торгсин, потому что оправа была совсем легкая — прямо кружево, всего ничего, — а принимали ее по весу, как лом. Так и написано было: лом драгметаллов... А камень шел задаром. И, как ни трудно было тогда, не хватило у папы духу. «Такая филигрань — и на слом... Оно ведь три поколения пережило!..» Сказал — и вернулся домой, так и не сдал.

Уже потом, в войну, уже при немцах, когда оба они — и Тася, и отец — были пухлыми от голода, появился вдруг бывший папин ученик, Володя Босенко, и папа отдал ему кольцо. Володя обещал — есть такая возможность — выменять за него у румын много продуктов: замечательное кольцо, румыны золото любят! У Володи бегали глаза, он суетливо заворачивал колечко в грязный платок и перечислял, сколько всего должны за него дать. А папа кивал и говорил: да-да, Володя, как хорошо, что ты пришел, мы с Тасенькой совсем погибаем — смотри, какие руки пухлые, а золото ведь не продашь. Кому? Немцы, полицаи — те просто так отберут, а больше — я даже людей таких не знаю... И правда, смешно — такое кольцо драгоценное — и погибаем от голода... Ах, какое счастье, что ты пришел, какое счастье!..

И Володя говорил: да-да, румыны — они хорошо платят. Может, у вас еще что-нибудь есть поменять, я бы взял заодно...

И тут почему-то Тася, воспитанная девочка, которая никогда не говорила неправды, вдруг вмешалась, перебивая взрослых. Мы поищем, сказала она; может

быть, найдется что-нибудь подходящее, только не сейчас. Сейчас — нет. Здесь — нет. На старой квартире.

Папа удивился до немоты — такого еще не было! — но ничего не сказал, и Володя ушел, унося колечко и кое-что из одежды (и зачем она румынам, старая одежда?)...

Больше Володя не пришел. Папа волновался: должно быть, с ним что-то случилось, а Тася вспоминала бегающие глаза и нечистые пальцы, заворачивающие перстень в платок...

...Цветные огоньки, переливающиеся в опале, дрожат, вспыхивают, плывут... Сон зыбко мелькает разноцветными огоньками, и вдруг — грубые руки, жаркий рот, дышащий водкой и табаком — а-ах! Ладонь, обожженная пощечиной, горит; красное пятно остывает на искаженном яростью лице комбата.

— Ну, ты меня попомнишь, заморыш несчастный! Скажи, пожалуйста — воображает из себя! Почище тебя крали рады были бы Володе Куруленко ноги мыть и воду пить!..

Бешено хлопает дверь, отрезая злые шаги.

Эх, надо было-таки, действительно надо было идти в Молодовую... А что теперь? Может, обойдется?..

— Вставай, разоспалась!

Какой-то красноармеец, слепя фонариком, трясет ее за плечи, дергает из-под головы вещмешок. Вялая, обеспамятевшая от цепкого сна, Тася неловко слезает с печи — в хате больше никого. Красноармеец подталкивает ее в спину:

— Одевайся, чего стоишь? И накройся, не лето, поди.

Кое-как обмотала голову платком, путаясь в рукавах, натянула пальто:

— Куда?

— Куда, куда?.. На страшный суд.

По спящему селу провожатый подвел ее к какой-то хате и, брякнув щеколдой, пропустил вперед. В нос ударило спертым воздухом, запахом прелой соломы, грязной одежды, немых тел. На полу вповалку лежали какие-то люди. Оглядевшись в полутьме, Тасин провожатый нашел свободное место, швырнул вещмешок и подтолкнул Тасю: валяй, досматривай свои сны!

Тася послушно, по-прежнему ничего не понимая, ничего не спрашивая, словно продолжая спать, подгрребла себе соломы и молча повалилась на эту подстилку, мучительно укладывая тяжелую, пригибающую все тело к холодной доливке, тупо гудящую голову... Сон... Полудрема-полуобморок, когда все слова и образы останавливаются на пороге бессильного сознания, которое даже и не пытается осмыслить их или хотя бы удержать... Сон...

...Отчего это на воле все время хотелось спать, а тут, в тюрьме, хоть глаза выколи?.. Свет в камере на ночь не выключают — как в общем вагоне. Зато у тебя, под нарами, и днем темно. Правда, на ночь приходится ложиться головой к проходу — так хоть чуточку легче дышать. Хорошо тем, кто на верхних нарах, — все-таки из окна немножко тянет и не так несет от параша. Правда, ночью там



свет прямо в глаза, но зато ничего на тебя не сыплется. Конечно, там лучше...

Отчего же на воле все время хотелось спать, а тут никак не уснуть? Все плетутся и плетутся думы — усталые, медленные, потому что все уже сто раз переделано, все перебрано, как пшено на кашу, обсосано, как перышко от таранки... Подъем в шесть, времени осталось совсем немного, а сон все не идет... И отчего это на воле все время хотелось спать?...

...И снова ее расталкивает кто-то грубый, и вот она уже сидит у стола. Коптящая керосиновая лампа издыхающим пламенем освещает твердый рот с зажатой сигаркой, прищуренные — от дыма? — глаза, красноватую, обветренную кожу, жесткие волосы, крылом рассекающие нахмуренный лоб.

— Имя? Фамилия? Откуда шла?

Глаза упорно не хотят смотреть перед собой, они расплзаются, ни на чем не останавливаясь — спят, спят Тасины глаза, язык неуклюже ворочается, отвечая на вопросы, — а хмурый все долбит, настойчиво, как дятел, — что ему надо от тебя, этому дятлу?

Вот тебе ни от кого ничего не нужно, дали бы только выспаться наконец!

— Какие собирала разведанные среди военнослужащих?

О Господи, что за чушь такая — какие еще разведанные?

— Ну, о чем расспрашивала?

— Обо всем. Как жили, как война идет, где фронт, где немцы, какие города освободили — разве все упомнишь! Ведь столько времени были по ту сторону, ничего не знали, слухами жили...

— Кому должна была доставить разведанные?

Он что — с ума сошел? Кому доставить?! Дались ему эти разведанные! Ей-богу, у этого дятла мозги набекрень — простых вещей не понимает!..

— А золото? Золото откуда? Ты ж говоришь — с голоду помирали!

Ну, что ты скажешь! Что же ты — есть его будешь, золото это? Ни продать, ни сменить. Может, конечно, они просто такие нерасторопные были с папой, не сумели? Да разве этому разъяснишь?

— Как же его немцы у вас не забрали?

— А папа его под клавиатуру пианино спрятал. Я, когда раненых везла — мимо же проезжали, — забежала, вынула. Больше ничего не успела — даже фотографий.

— Галя! — крикнул и, перекинув во рту сигарку, откинулся назад.

Быстро — словно ждала под дверью — в комнату, цокая подковками трофейных немецких сапог, по-хозяйски входит молодлица.

— Обыщи ее, — говорит он и кладет руки на стол, будто отдыхать, покойно так кладет...

Крепкие короткопалые Галины руки обшаривают Тасино худенькое тело, ловко выдергивают шпильки из косы — и, как в бреду, мелькают на плотном Галином мизинце разноцветные огоньки — мамино колечко с опалом...

— Не девка, а куренок задрипанный — ребра, как цимбалы, — пренебрежительно роняет Галя, оглаживая свои крутые бока. — Что там у нее — ничего нет.

И непонятно, что она хочет сказать — что обыск ничего не дал или что нет у Таси никаких женских достоинств.



— Ладно, иди, — отпускает ее хмурый и уже Тасе: — Подпиши вот здесь и спи дальше.

И Тася с облегчением опускается на вонючую солому, где шумно спят какие-то темные фигуры, — и уже нет ее, ничего нет: ни Гали, ни колечка, ни звуков — только настойчиво скверный запах и блаженное ощущение, что это наконец уже все, теперь можно спать — и ничего за этим, кроме сна, не будет, и если вот так же проваливаешься в смерть, то и бог с ней, со смертью...

Но ее снова будят и снова суют какую-то бумагу: подпиши вот здесь. Да подписывай, чего там — это же копия!

И Тася, не глядя, подписывает, радуясь, что так дешево обходится ей право уснуть. Но не тут-то было. Не успела уюститься, как снова топот, какая-то сума-тоха — «Встать!» — движение... По полу клубами катится холод, Тася поджимает ноги, чтобы угреться под пальто, выжидая, когда наконец утомонятся эти входящие и уходящие, но никто не торопится. Один из пришедших оборачивается к Тасе: колесико шпоры, только что остановившееся на уровне ее лица, отскакивает, прячется за сапогом.

— А ты чего лежишь? Тебе что — особое приглашение? Встать! Выходи! С вещами!

И Тася, зябко поеживаясь, перешагивает порог и вступает в ночь, морозную, звездастую, неизвестно что несущую. Очень хочется за малой нуждой; Тася оглядывается, кого бы спросить — может, Галя — но Гали нет, а больше спрашивать некого — одни мужчины, и Тася решает потерпеть, пока все выяснится.

Их выводят во двор, велют обождать. Их восемь — семеро мужчин, одинаковых в своих телогрейках, и Тася. И хоть бы одна женщина!

Пританцовывая на темных лошадях, выдвигаются откуда-то из темноты верховые — их двое — и становятся по бокам. Конвоир — Тася уже понимает, что это конвой, — тот, который вывел их из хаты, задерживается около нее на секунду: Тасе кажется, что он смотрит на нее совсем не зло, даже сочувственно — качает головой и тихонько говорит:

— Ну, шагай. Сгубило тебя, девка, твое золото. Теперь шагай.

— Куда? — непослушными губами еле слышно выговаривает Тася.

— В Молодовую, в особый отдел, — роняет он и отходит, уступая место верховым.

Молодовая — это же там, где военкомат. Может, ее в военкомат — так почему под конвоем? Нет-нет, все плохо, все почему-то плохо, и ничего хорошего в этой Молодовой ее не ждет. Но почему? За что?

Тесня пеших лошадьми, конвой выжимает их на дорогу. Телогрейки сбились в кучку; Тася от них отстает — этих она боится не меньше, чем конвоя.

Один из верховых осаживает назад и, наезжая на нее лошадиной грудью, зло подгоняет: а ну живей!

Перебарывая стыд, Тася чуть слышно просит:

— Разрешите я отстану... На минуточку... Мне нужно...

— Ишь чего! — орет конвойный. — Приспичило тебе — скидавай штаны и садись. Отстанет она, вишь! А то, может, — совсем отпустить?

Что говорит второй, Тася не слышит. Сгорая от стыда, она что есть мочи



спешит за остальными. На фиолетовом снегу черными кентаврами — тени. Лошади сердито всхрапывают — может быть, их тоже раздражает, что Тася отстаёт?

Впереди возникает неровная темная полоса, кто-то из идущих вскрикивает, роняя злой мат; наст под копытами передней лошади с хрустом проваливается. Еще не успев ничего понять, Тася тоже проваливается по колени в обжигающую холодом черную воду: ручей! И разом, с невыразимым чувством стыда и облегчения, ощущает, как неудержимо течет по ногам горячее — наполняя драные бурки, смешиваясь с ледяной водой... Боже мой, какой позор — нет-нет, теперь уже все равно, теперь спасена от позора!.. Дальше она бредет за маячащими впереди темными фигурами, не разбирая дороги, не реагируя на брань конвойного, на нетерпеливые щелчки кнута по голенищу. Теперь уже все равно, только бы дойти до этой Молодовой — может, там все образуется?

В брезжащем рассвете замаячили какие-то строения, вырисовалась деревенская улица. Конвойные спешили — неужели Молодовая? Слава Богу — наконец!

И тут Тасе показалось, что из нее морозным паром выходит последнее дыхание. Она качнулась, жалко оседая; откуда-то надвинулось, наклонилось в тусклом свете угреватое молодое лицо, а рядом, чуть выше, нависла грустная лошадиная морда. Все как-то странно накренилось, посеревшее рассветное небо тошновато перекошилось и закатилось назад...

...В хате холодно, но уже почти светло. Мокрые чулки, мокрые бурки леденят ноги, пар валит изо рта. Железная кровать с голым соломенным матрацем, на которой она сидит, яростно рипит при каждом ее движении. В темном углу напротив шевелятся какие-то фигуры — может, ее ночные попутчики, а может — другие. Кто их знает, она ведь не видела их лиц. Двое или трое лежат на полу, похозяйски используя передышку.

— Надо же — очухалась! — с любопытством говорит кто-то.

Тася украдкой стягивает мокрые чулки, вешает их на спинку кровати, ставит мокрые бурки к печи, но это пустой номер — от печки исходит едва уловимое убогое тепло. Поджав под себя босые ноги, Тася пытается отогреть окоченевшие пальцы.

— Обоссалась, что ли? — равнодушно роняет один.

— Что вы! — пугается Тася. — Я в ручей провалилась...

Но никто не слушает ее ответа — никому не надо.

Тася ерзает на матраце — эх, прикорнуть бы, благо, что на кровать никто не претендует, — но в сенцах торопливые шаги, и резкий голос выкликает ее фамилию: выходи!

Чулки куда-то завалились — наверное, упали, надо лезть под кровать, но конвойный торопит. Она натягивает мокрые бурки на босые ноги — авось недалеко! — и выскакивает за ним, перекинув через плечо вещмешок.

На улице уже совсем светло, еще морозно, но день обещает быть солнечным.

В большой, казенной — под железом — хате Тасе разрешают сесть. Чернявый, со стесанными скулами чахоточного, сощурился, окидывает Тасю жестким взглядом:

— Ну что? Где же твое золото?

Опять за рыбу гроши! Отобрали же!

— А чего же тут написано «на руках у задержанной»? И подпись — гляди, твоя подпись? Или нет?

— Моя, — безнадежно говорит Тася.

— Зачем же подписывала, коли отобрали? Смотреть надо, что подписываешь. Читать надо.

— Так он же сказал — то же самое, второй экземпляр. Копия.

— Ну, что мне с тобой делать — обыскивать, что ли?

Тася покорно кладет на стол свою торбу и оглядывается: кто же ее будет обыскивать — неужели сам?

Чернявый торбу брезгливо отодвигает и сердито машет рукой: ладно, сама выкладывай, что там у тебя.

Распустив шнурок вещмешка, Тася старательно — не дай Бог что-нибудь пропустить! — перечисляет его содержимое.

— Теперь по порядку: кто такая, откуда шла, зачем...

Тася скучно повторяет, который раз уже, свою историю, чернявый скучно слушает и что-то пишет. Перо у него — «рондо», он к нему, наверное, не привык, оно скрипит и ставит кляксы. Тася тоже не любит «рондо» — лучше «86» или «пионер», да и не разрешали его в школе; а вот папа только им и писал. Почерк у папы был круглый, красивый, одинаковый и левой и правой рукой, с горизонтальными нажимами — и обязательно «рондо»...

Тася снова подробно рассказывает про крестик, про сережки и колечко — раз уж это им так важно.

— А еще ценности были дома?

Он, наверное, уже устал придумывать вопросы. Стараясь помочь ему, Тася охотно подхватывает: да-да, были, остались! Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», первое издание — на фламандском, представляете? Его не поднять прямо! «Мертвые души», с иллюстрациями Боклевского и Самокиш-Судковской — папа говорил, им цены нет! И виолончель итальянская тоже...

— Ну, вот что, хватит, — раздражаясь, дергается чернявый. — Дурочку из себя корчишь? Я же с тобой по-хорошему!

Господи, а я?

— Ладно, на, подписывай, — пододвигает нетерпеливо. — Все правильно?.. Гляди...

— Неправильно, — чуть слышно, в тоске, роняет Тася, — «Пантагрюэль», а не «пантагревень». И с большой буквы пишется. А так — ничего.

— От черт! — непонятно восклицает чернявый и кричит кому-то: — Дубовой! К Золотареву ее.

«А чулки? — думает неприкаянно Тася. — А за чулками, значит, не зайдем?»

Но спрашивать боится, и ее уведут совсем в другую сторону — пропали чулки! Хорошо еще, если не будет мороза...

...Господи, какая жара! Как ненавистно себе самой липкое, распаренное тело, которое даже днем под нарами грызут, не дожидаясь ночи, ненасытные клопы!



Запах пота — множества чужих потов — и нечем, нечем дышать! Не воздух — какую-то зловонную вату втягивает пересохший рот. Она забивает горло, легкие, душит; в ней глохнет ослабевшее сердце, и удары его, как руки утопающего, вскидываются все реже и неравномерней... Воздуха! Выползти из-под нар! Дышать!..

Несколько неверных шагов к окну, где все равно горячее, плотное, неподвижное. Может, там, за деревянным коробом, ветерок, может, где-то шелестит зеленая листва и струится речная прохлада... Господи!

Кто-то подхватывает внезапно обмякшее тело — воды! Бачок пуст, даже дно высохло. Воды!

Кто-то барабанит в кормушку. Ощеренное в скверной улыбке лицо дежурной надзирательницы: ах, воды вам? А может, пивка холодного? А кваску не хотите? И, как злую пасть, захлопывает кормушку.

Свет медленно желтеет, меркнет, но ты еще успеваешь почувствовать, как чьи-то руки поднимают тебя — повыше, ближе к окну. И снова кто-то стучит в кормушку, и уже напротив колотят в двери: дайте в двадцатую воды! И в соседней камере уголовницы тоже кричат: воды! Дай воды, стерва! Воды! Врача! Человеку плохо!

Грохочет весь коридор: воды! Врача!

Распахиваются двери; быстро, дробно входят двое: что тут, кому плохо, кто в карцер захотел?

Зинаида Борисовна, учительница из Великого Бурлука, отчаянно четко произносит:

— Мы требуем врача, мы требуем воды, нам каждый день дают суп из селедки...

— Из воблы, — строго поправляет охранник.

— ... а воды — три литра на всех, в такую жару!

Уставшие руки осторожно опускают Тасю на средние нары — лежи! И тут Тася замечает, что коридор настороженно стих.

— Фельдшера. И дайте им воды, — кидает старший кому-то в коридор и не оглядываясь выходит.

Долговязый прыщеватый фельдшер настроен агрессивно:

— Которая тут симулянтка?

— Как вам не стыдно, — вспыхивает Зинаида Борисовна, — посмотрите, какие у нее губы синие!

— Она сознание потеряла, — подает голос молчаливая Даша, — такой обморок глубокий...

— Ах, скажите, пожалуйста, обморок, — огрызается фельдшер. — Какие нежности при нашей бедности! Небось не дворяне, — но тут же дает Тасе целую кружку воды и капает в мензурочку какие-то пахучие капли.

Сердце вспоминает, что надо биться, и медленно, спотыкаясь, принимается за работу.

Фельдшер уходит, но через несколько минут кормушка снова распаивается, и дежурный надзиратель — слава Богу, другой — заглянув, заговорщически шепчет:



— Пускай так побудет — только тихо!.. — и в камеру из коридора вливается прохладная струя.

Спасибо, люди!

...Конвойный взвод Золотарева размещен в просторной светлой хате. Молодая ядреная хозяйка при виде Таси всплескивает руками: ой, лышечко! И сам Золотарев, невысокий, коренастый, лет уже эдак под сорок, тоже недоуменно таращит глаза: это еще что? Куда мне ее?

— Принимай, раз приказано, — сердится конвойный. — Обратно не поведу.

— Ну, дела! Что же мне с тобой, девка, делать? Куда мне тебя? В сарай, со всеми?

— Бог з тобою, Петровичу, — заступається хозяйка, — хіба ж можна! Нехай уже тут — воно ж іще ба яке молоде!

— Ну, ладно, — соглашается Золотарев, — будешь с нами, в хате, только смотри мне, из хаты, ни на шаг. Без спросу — и за нуждой не моги.

Тася вспыхивает от стыдного воспоминания. Золотарев добродушно хмыкает:

— Так и быть: за клуню — без конвоя, но больше никуда, а то — без предупреждения, поняла?

Тася кивает: поняла. Он такой, Золотарев: в сарай посадить пожалел, а чуть что — и без предупреждения... И вдруг почему-то отпустило: словно все струпья на душе, как бинт, присохший к ране и отмоченный марганцовочкой, — отмякло все, и стало спокойно, вольно, хоть и устало... Интересно, можно так сказать — «стало устало»? Может, и нельзя. Ну и пусть, ну и ладно... Все будет хорошо, все прояснится. Это же свои! Разберутся потихонечку. Харьков отобьют — тогда все очень просто будет: спросят у соседей, у всех, кто тебя знает. Это же смешно, что тебя арестовали, — чепуха какая-то. Все уладится. Вот только скорее бы...

Ужинают все месте. Золотарев сказал: пусть с нами, не обеднеем. Тася сидит с ними за столом — их тут с Золотаревым восемь, остальные где-то неподалеку. Все хорошие ребята, все правильно, они понимают, что Тася ни в чем не виновата — она уже все им о себе рассказала — но порядок есть порядок.

Спать ложатся все покоем, на полу на чистую, колючую солому. Тасе Золотарев разрешает постелить охапку соломы отдельно, в закутке между столом и печью. Правда, из закутка не выйти — пришлось бы переступить через спящих, а так — хорошо.

Один из парней, высокий, красивый Андрей, с длинными, размашистыми бровями и ресницами, прямыми и частыми, как озерный камыш, поворочавшись минут десять, мягко, как кот, пробирается на хозяйскую половину. Оттуда слышится приглушенное воркование и счастливый смех. Тася успевает удивиться: как же так, он еще днем показывал ей фотографию своей невесты, тоже красивой, тоже чернобровой, в пионерском галстуке (вожатая), но удивляется вяло, потому что одолевает сон: такой спокойный, такой ласковый — прямо довоенный сон...

Нет, напрасно она думала, что у них тут все по-семейному. Ребята из конвойного взвода всерьез стерегут своих подопечных: Тася только вышла за хозяйкой



посмотреть на теленочка, как веселый Паша тут же ее окликнул, очень строго: ты куда это? Вот так: за клуню можно, а чуть в сторону — извини!

Весь день хозяйка мелькает по двору, рдея румянцем; потаенная улыбка то и дело трогает теплые щеки и сочные губы. Товарищи подтрунивают над Андреем, он слушает их без смущения и, когда за обедом Паша деловито предлагает: «Слышь, Андрюха, слетай на разведку — как там насчет картошки, дров поджарить», — он поднимается из-за стола, самодовольно улыбаясь, и тотчас возвращается с полной кринкой душистого молока.

Непостижимые бывают люди!

После обеда Золотарева куда-то вызывают. Вернувшись, он негромко отдает во дворе какие-то распоряжения и, заглянув в хату, говорит Тасе:

— Собирайся, едем!

— Куда? — машинально спрашивает Тася.

— На кудыкину гору, — зло бросает он.

Тася послушно затягивает тесемку вещмешка, натягивает просохшие бурки (хозяйка с вечера положила на печку) и уныло разглядывает просвечивающие в дыры голые пятки.

— Нет, ты посмотри на нее! — изумляется Золотарев, подергивая бурыми усами. — Ты что же — набосо шла?

Пылая, Тася бормочет, что провалилась в ручей, что чулки остались в той хате, куда их пригнали; Золотарев, чертыхнувшись, развязывает свой вещмешок и бросает ей две застиранные тряпки.

— На вот портянки, наверни. О, Господи, и откуда у тебя, девка, руки растут! Ладно, дорогой перемотаешь.

Тасю подсаживают на тачанку, рядом — Золотарев и Андрей, впереди — ездовой Володя, в ногах — какие-то железяки, притрушенные соломой. Тачанка бойко выкатывается из ворот; у тына стоит хозяйка, она жалко улыбается, и губы у нее дрожат, когда она сует Андрею какой-то узелок — с Богом!..

Из дворов выворачиваются еще тачанки, еще верховые — все в одну сторону, за село. Неужели отступление? Тася представляла себе, что отступают с боем, отстреливаясь, — тем более, кавалерия. А это что?

— Драп, — хмуро говорит Володя. — Драп, вот что это.

Уже в темноте останавливаются в каком-то селе, наспех ужинают, чем Бог послал, располагаются на ночлег. Хозяин — хмурый, неприветливый старик — не дает соломы. Золотарев грозит, требует, потом Паша вносит тощую охапку, и Тася мостится в углу, с грустью вспоминая теплую, натопленную хату и ласковую хозяйку. Кто-то еще валится в темноте на солому. Тася не открывает глаз, она уже научилась экономить сон, подбирая минутки, как крошки хлеба... Наверное, она все-таки успевает уснуть, потому что совсем внезапно шумно распахиваются двери, в морозном нимбе вваливается Золотарев и за ним еще кто-то:

— Быстро, быстро, собирайся — немецкие танки прорвались!

Все кругом бегают, но суеты нет — все сжато и четко. Тася оделась и оторо-



пело ждет. Золотарев берет ее за борта пальто и, дыша в лицо махорочным перегаром, хрипло спрашивает:

— Ну, что? Поедешь с нами — или останешься?

— Что вы! — захлебывается ужасом Тася. — Как же это я останусь? Опять у немцев? Нет, я с вами, конечно, с вами! Не бросайте меня, пожалуйста — пожалуйста, не бросайте!

Золотарев секунду медлит, что-то решая про себя, потом подталкивает ее к дверям:

— Раз так — давай, помогай!

Дрожа то ли спросонья, то ли с перепугу, Тася вместе со всеми бегом таскает из сарая какое-то оружие — то ли трофейное, то ли брошенное кем-то второпях: тяжелые длинные ПТР, рогатые автоматы — на тачанку, на тачанку! Все это забрасывают соломой, и Тася громоздится сверху («Как Солоха на возу», — мелькает неуместная мысль), рядом плюхается Золотарев, вскрикивает Володя-ездовой, всхрапывают, рвут с места кони — и тачанка вылетает на раскатанную дорогу. Над ними нависает всеми своими острыми звездами лунастая мартовская ночь; луна, круглая и ужасно холодная, катится высоко над Тасиной головой — близоруким Тасиным глазам видится вокруг нее колющее сияние; где-то слышится глухой непрерывный гул, снизу больно давят проклятые «пэтээры», лошади храпят и рвут постромки. Золотарев, загораживая Тасю от ветра жесткой, резко пахнущей буркой, наклоняет к ней лицо:

— Ну, красавица, сказала бы «останусь» — тут бы тебя и порешил.

— А те? — замирает Тася. — Из сарая?

— А тех — в Могилевскую губернию. Драпануть хотели.

У Таси к горлу подкатывает тошнота, она судорожно хватается за край брички — Золотарев, отворачиваясь, рассеянно, как бы себе самому, роняет:

— А-а, не до них. Вozиться еще с ними...

На мерзлых кочках бричка подпрыгивает, больно подбрасывая Тасины худенькие ягодицы на расползающихся «пэтээрах»; морозный ветер, весь пронизанный лунным светом, хлещет лицо, леденит руки, колени...

Золотарев, наклонившись, роется где-то под ногами и вытаскивает откуда-то изподнизу что-то длинное и шершавое: одевайся!

Шинель! Большая, с разрезом до пояса, кавалерийская шинель! Тася натягивает ее поверх пальто, накрывает колени длинными полами и втягивает «фунтиком» длиннющие рукава, чтобы не зябли руки. Золотарев прикрывает ее сверху краем бурки. Бурка — она как шалаш, как домик на твоих плечах: об нее спотыкается, отскакивает и отбегает ветер. Тася закрывает утомленные мельканием луны глаза. Вдогонку катится ровный гул, далекий, неясный, он ровнее, чем гул артиллерийской канонады: гул-л, гу-у-л-л, гу-у-л-л... Потом он начинает нарастать: нарастает, нарастает — и вот он уже р-рев, р-р-рев, р-р-р-рев!.. Внезапно бричку встряхивает на ухабе — и Тася оказывается в рыхлом, забивающем дыхание зеленоватом снегу. Мимо несутся тачанки, верховые, несутся вздыбленные, обезумевшие кони, бросая в лицо ей комья снега, роняя хлопья пены — храпящие, оскаленные морды, прижатые уши... А навстречу, по широкой снежной просеке с грохотом и лязгом медленно ползут танки. Танки, наверное, на-



ши, потому что они не стреляют; что-то беззвучно кричат черные танкисты...

Грохот и ржание взвизгивающих лошадей — два потока, устремленных друг другу навстречу по обочинам широкой просеки, — и между ними по середине дороги мечется нелепая фигурка, путаясь в длинной, до пят, шинели, наступая себе на полы и падая, размахивая руками, утонувшими в непомерно длинных рукавах. А надо всем этим ржущим, грохочущим, скрежещущим кошмаром резкий зеленоватый свет луны; нет, множества лун — или это ракеты? И резкие черные тени, и черная зубчатая стена леса по обе стороны потока...

И девочка, в отчаянии поднимая заплаканное лицо, бежит, спотыкаясь и падая, увертываясь от вздыбленных копыт, и кричит, кричит, надсаживая горло, силась перекричать эту дикую какофонию:

— Пожалуйста, скажите, где взвод Золотарева? Пожалуйста, возьмите меня, не бросайте! Возьмите меня с собой!

Но никто ее не слышит, и никто-никто не знает, чего она боится больше всего на свете: нет, не ревущих танков, не бешеных лошадей, не этих бесчисленных жестоких лун, заливающих весь этот хаос слепящим холодным светом... Боже мой, он же подумает, что она нарочно упала! Что решила бежать, дожидаться немцев!

Но лавина несется, и никто не слышит ее голоса, и она валится в снег без сил и без надежды, и уже не поднимает лица — как вдруг какой-то всадник, осадив вымышленного коня, наклоняется над ней:

— Живая, что ли?

Не помня себя от счастья, она хватается за стремя, за холодный сапог, сильные руки подхватывают ее — неловко, больно, но слава Богу, слава Богу, ее поднимают в седло — и вот уже окоченевшие пальцы замирают, вцепившись в спутанную конскую гриву...

Она не успевает увидеть лица того, кто ее пожалел, — он дышит ей в затылок... Какой это замечательный, какой это добрый человек! Пусть его никогда не убьют, сколько бы впереди еще ни было войны — он спас Тасю! Теперь никто не подумает, что она хотела дожидаться немцев! Теперь все будет хорошо, все будет хорошо!

Колонна танков кончается, кони постепенно успокаиваются и переходят на рысь, а потом на шаг, и кто-то уже подъезжает и что-то спрашивает, и Тасе говорят, что Золотарев со своим взводом где-то впереди. И еще кто-то подъезжает и резким начальственным голосом спрашивает, кто такая, и вот они уже въезжают в село, и спаситель осторожно ссаживает ее, и откуда-то возникает красивый Андрей — пойдем, наши тут, недалеко — и шагом едет рядом, и смеется, глядя, как она торопится, подбирая полы шинели.

И опять подъезжает тот, с начальственным голосом, и бросает Андрею: скажешь Золотареву — пусть валенки дадут сестре. Тася хочет сказать, что она здесь не сестра, а арестованная — и не успевает: раскачиваясь на кривых ногах конника, подбегает Золотарев, и она бросается к нему, как к родному.

— А кто это был — подъезжал кто? — спрашивает она у Андрея, немного погодя.

— Замнач особого отдела майор Григорьев, — отвечает Андрей.



...С утра, кажется, ничто, кроме синяков, не напоминает о бешеной ночной скачке. Каждый занят своим делом. Хозяйка — старенькая, сгорбленная — хлопчет у печки. Около нее крутится белобрысый мосластый внучок с голодными глазами, она его отгоняет: «Иди геть, не заглядай!» Впрочем, если он, отчаявшись, убегает по своим мальчишым делам, бабка бранится: «І де він запропастився, отой песиголовець?!» А когда «песиголовець» снова благополучно возникает, она треплет его коричневой, в старческих веснушках, рукой: «І де тільки тебе носитъ, ідолового сина печінка!» — и сует ему сизый «митирженик».

Тасе смешно: почему «ідолового сина» и почему именно «печінка»? А «песиголовець» представляется ей чем-то вроде египетского божества с человеческим туловищем и собачьей головой, причем обязательно в профиль, — а у Грицька собственно и профиля-то нет, до того курнос. Услышав в очередной раз «песиголовець кирпатий», Тася приходит в полный восторг — однако Золотарев, забежавший на минуту, не одобряет ее веселья:

— Чего лыбишся, — ворчит он, — постыдилась бы без дела слоняться. У бабки вон в чем душа держится!

Ну да, конечно, совестно — но и радостно: значит, теперь она — как все! Все при деле — и она должна быть. А что делать, чем помочь? Бабка сначала отмахивается, а потом сует ей ощипывать курицу. И откуда только взялась курица на этом пустом подворье? И как ее ощипывают — совершенно неизвестно. Вообще Тасе, наверное, вполне хватило бы пальцев на руках, чтобы сосчитать, сколько раз в своей сознательной жизни она ела эту курицу, — а уж чтобы ощипывать...

Она очень старательно мусолит куриную тушку, но у бабки лопаются терпение:

— Ет, тобі, я бачу, у чужій хаті прясти не з руки! Ото вже неклеба, Господи прости!..

И все — и больше ей ничего не доверяют. И опять майся без дела — разве что хату подмести...

...Оббивая в сенях сапоги, в хату заглянул румяный, круглолицый, в белом командирском полушубке. Слепя улыбкой, поздоровался.

— Ти диви, — ахнула хозяйка, — що ж це Сірко і не гавкнув на чужого?

— На Веню Каратаева, хозяйюшка, ни одна собака не гавкнет, Веня Каратаев везде свой. Анастасия Гарднер кто тут?

— Я Анастасия Гарднер, — охотно откликнулась Тася.

— Айда со мной. Тут недалеко.

Оглянувшись на Золотарева — тот разрешающе кивнул.

...Каморка была маленькая и темноватая. На подоконнике стоял какой-то темный пузырек и валялись дохлые мухи. Каратаев раздумчиво смахнул мух на пол и аккуратно промокнул протокол школьной промокашкой.

— На, подпиши. Да прочитай, прочитай сначала — куда ручку тянешь! Ведь обожглась уже раз, подписала не глядя — теперь расхлебывай, горе луковое! Да, макнул тебя твой комбат, ничего не скажешь. Век не отмоешься. У нас ведь как: попала в машину — будет тебя жевать, пока не выплюнет одни пуговицы... Я, ко-



нечно, доложу свое мнение, но как там дальше пойдет, один Бог да начальник особого отдела знает.

Тася нехотя пододвигает к себе исписанный листок: четкий, красивый почерк, все толково.

— Все точно, — удивляется она. — А я думала, у вас память плохая. По двадцать раз одно и то же переспрашивали...

— Дурочка, это техника допроса такая: допустим, ты соврала что-то — не случайно, намеренно соврала, и дальше гнешь свою линию, выстраиваешь легенду, и я вроде бы принял, поверил, и ты уже дальше, о другом, отвлекаешься, а я — бац! — опять тебя о том же! А ты уже бдительность потеряла, отвлеклась — и все! Кранты! Проговорилась! Так что, дорогая, не рассеянность это, а, так сказать, — секреты ремесла.

«Странно, — думает Тася, — не такой уж он веселый, как кажется. Даже скорее грустный, этот Веня Каратаев».

— Ладно, — говорит Веня и поднимается, — пошли, отведу тебя. Доложу, как думаю, а там, если что — не поминай лихом.

— Не буду, — говорит Тася. Очень искренне говорит.

...Нет, вот зачем ты бежала тогда за лошадьми, зачем просилась: возьмите?.. Не была бы дурой, не валялась бы сейчас под нарами, не дышала бы вонью параша. Немцы? Перепрыгала бы в деревне, пока немцев отобьют. Вон какая колонна танков шла — наверняка отбили. Вернулась бы домой, дома еще мешочек жита был — стаканов тридцать, наверное. Хватило бы на первое время. А главное — все тебя знают, все тебе верят! Верят тебе! Может, это судьба твоя на тебя оглянулась — а ты против судьбы пошла. Ради чего? Честное слово? Честное гарднеровское слово! Дворянский предрассудок, как сказала бы тетя Женя. Милая тетя Женя, где она сейчас?

— Задержанную к замначу!

Неразговорчивый казак с женским именем Христя из взвода Золотарева ведет Тасю по деревне. Замнача нет, и Христя ее «сдает». Тася долго ждет в «чистой хате», на деревянном диванчике; никто к ней не заходит, никто с ней не разговаривает; заглянувшая на мгновение хозяйка, не говоря ни слова, притворяет дверь. Это очень неловко — когда сидишь одна в чужой комнате. Встать боишься — подумают: и чего это она шастает, что разглядывает? Тася ерзает на месте от беспокойства и нетерпения, но вот, слава Богу, дверь приоткрывается, и в комнату не торопясь входит рослый рыжий кот. Хозяйкина рука тут же прикрывает за ним дверь.

Кот — это уже легче. Тася кличет его: кис-кис! Плевать он хотел на твое «кис-кис»! Тут он хозяин! Кот вытягивает хвост трубой и трется шеей о ножку диванчика. Тася подобострастно чешет его за ушком, лъстиво приговаривая: киса, хороший! — и он наконец достаивает ее внимания, но тут звякает «защипка», по хозяйской половине — бодрые, твердые шаги, и к Тасе входит румяная, в ладно подогнанной форме — соломенные кудряшки из-под шапки — веселая девушка.

— Нет замнача? А ты кто?

Тася неопределенно поводит плечами.

Кудрявая похлестывает себя прутиком по сияющим голенищам, сладко потягивается и безмятежно говорит:

— А я — Маруся.

Будто этим все сказано.

Крунулась по хате, подправила перед зеркальцем брови и вышла, не оглянувшись. Как из пустой комнаты...

...Брови у замнача скудные, намеком — как у Моны Лизы. И глаза — голые, без ресниц на твердом, мужицком лице. От этого как-то не по себе. Он ест решительно, сосредоточенно, без эмоций, как будто выполняет четко отработанную операцию. Впечатление такое, что вкуса пищи — ни удовольствия, ни неудовольствия — он не ощущает: просто заправляет организм требуемым количеством калорий.

А на столе — жареная картошка с салом. Тася ест благоговейно, стесняясь поднять глаза на безбровое лицо; может, ему неприятно, когда на него смотрят?

Водку пить Григорьев не заставляет: предложил — отказалась, настаивать не стал. Пододвинул сковородку: ешь.

— Ой, спасибо, я ужинала... Мне дали.

Сказал ровно:

— Ну и что? Жареной картошки ведь не давали? Значит, ешь. Говорить будем потом.

Главное — не торопиться. Не жадничать... Но он неодобрительно отгребает картошку на ее сторону сковородки и повторяет без выражения:

— Ешь.

Когда сковородка пустеет, он снова наливает себе из фляги, глотает — как будто ставит точку, и спрашивает:

— Чай пить будешь?

Тася отваживается кивнуть. Чай — это всегда хорошо, даже если он заварен вишневыми веточками...

Надо же — с чаем уже покончено. Казалось, если с сахаром, так пила бы и пила — оказывается, нет: кружку выпила — и больше не хочется. Еще во рту забытая сладость, а надо уже поднять глаза. Сейчас он что-то скажет.

— Так значит. Знакомился я с твоим делом. Пустяковое дело. Хотя, конечно, как посмотреть. Я вот что тебе предлагаю: будешь у нас при штабе — словом, при мне будешь. Обмундирование, паек офицерский — ну?

Ну вот — а Веня Каратаев сомневался. Иначе и быть не могло — ведь свои же, наши. Разобрались — дело-то пустяковое. Только что ей при штабе делать? В медсанбат бы...

— Я бы лучше в медсанбат... Я умею, я перевязки хорошо делаю. Все говорят, у меня получается...

Нехорошо усмехнулся:

— И тут получится. Дело нехитрое.

Тяжелые руки ложатся на плечи, немного отталкивают, словно чтобы лучше разглядеть.



— Женой мне будешь. Как Маруся у Веньки Каратаева. Заходила к тебе Маруся?

Тася кивком подтверждает: заходила. И тут же с ужасом спохватывается: кивнула — это же можно подумать, что согласна!

— Как же так — женой? У вас же, наверное, есть жена? Может, и дети есть?

Майор досадливо морщится — эго, непонятливая!..

— Так то ж тыловая — а ты фронтовая будешь.

Что он — с ума сошел? Как это можно? А дети? И вообще...

— Вы же меня не любите, вы меня не знаете совсем!.. — Тасе неловко произносить такие слова, но она договаривает: — И я вас тоже не люблю. — И мысленно добавляет: вы же старый!

— Не бойся, стерпится — слюбится, — бормочет майор, притягивая Тасю к себе и запечатывая мокрыми губами ее протестующий рот. Тася мычит, крутит головой, вырываясь, изо всех сил упираясь в пахнущую крепким мужским потом гимнастерку — Господи, до чего противно!

— Ну что — сладко? — отпуская ее, спрашивает майор; но, верно, такое омерзение написано на Тасином лице, что скулы его каменеют. Оторванный погон нелепым крылышком топырится на левом плече.

— Не смейте, — беззвучно, безголосо выдыхает Тася. — Я закричу!

Безбровое лицо взбухает, наливаясь сизой кровью, под кожей ворочаются крутые желваки:

— Ах так?! Ну что ж, вольному воля, спасенному рай. Только не взыщи — ночевать тебе все равно здесь придется. Ординарца я отпустил, а без пароля тебя первый же патруль пристрелит. Нет, я пароль не знаю, мне ни к чему. Кто ж тебя знал, что ты такая несговорчивая. Или, может, кто другой во взводе пригласился?

И тут Тася заревела — жалко, безудержно; слезы полились сразу, казалось, они текут не только из глаз, а, как пот, выступают из пор, плачет все лицо, солоно на губах — и нет платка, и нет сил остановиться...

Майор крупно, всей пятерней, взял флягу, хлебнул прямо из горла, завинтил крышку и задул лампу. Заскрипела кровать, грохнули сапоги.

Тася сжалась в углу диванчика.

Неужели он и вправду не знает пароля? Тикают ходики... Странно — такой мирный звук... Господи, заснул он или не заснул? Хоть бы скорее! Ну, а тогда что? Можно попробовать перебраться на хозяйскую половину. Все-таки страшнее, когда не спит... Тихо! Кажется, всхрапнул! Да-да, заснул: дыхание стало слышным, медленным — ну, Тася, давай! С Богом!

Неслышно, как давеча рыжий кот, выскользнула в дверь. Вот хорошо, что пол земляной — не скрипнул! Нашарила возле печи ослинчик — маленькую скамеечку, примостилась, обняв колени, приклонив голову — ждать... Ждать, пока рассветет, когда можно будет, не зная пароль, пройти по улице, вернуться в свой конвойный взвод... Что там они сейчас думают о тебе? Да ничего не думают — спят они сейчас... А что подумают завтра?

Кровь толкается в висках, а кажется, что это тикает, как ходики, медленное время... Что там? Заскрипела кровать, прошлепали через комнату к диванчику



босые ноги. Ругнулся тихо, зло, прошлепал обратно, лег. Тихо, Тася, тихо!.. Спи, Тася...

Перед светом завозила хозяйка, встала, начала растапливать, жесткой рукой погладила Тасю по волосам: натерпелась лиха, сердечная! Все слышала, за-таилась с сыночком на печи: он с вечера не велел заходить.

...Зябко поеживаясь, вышла на улицу. В сиреневатом морозном рассвете уже заструились, проснувшись то тут, то там, жиденькие дымки. Запоздало испугалась: вдруг не найду?

Нашла. Отворила калитку. Румяный Паша разогнулся над поленом, перебро-сил в руках топор и смачно сплюнул в ее сторону.

— Переспала с майором — что ж завтракать не оставил?

Надо было ответить что-то гордое, достойное — такое, чтобы все встало на место, но Тася не нашлась. Прошла мимо, как побитая собака, кляня себя, холо-дея при мысли, к а к будет понято ее молчание.

— Явились, не запылились — как же теперь прикажете вас величать? — жес-токо осклабился Золотарев. — В каком звании теперь будете? Подполковником рано, не дослужились — значит, под-майором пока? Ну и как?

— Ничего, ребята, майору дала и нас не обидит, — подхватил вошедший в хату Паша, с грохотом сбрасывая охапку дров. — Как там про сороку-воровку — этому дала, этому дала... Верно я говорю, красавица?

— Та що ви на неї нарипались усі, — вмешалась хозяйка, — може, там і не бу-ло нічого...

— Ну да, конечно, они с майором всю ночь в шашки играли. В поддавки!

Господи, как неубедительна, как обидно беспомощна может оказаться правда! А они — как они изощрялись, эти ребята, как вымещали на ней ревнивую свою обиду, как мстили за солдатскую свою доброту, за молодые взгляды украдкой, как обжигали злым своим презрением — пока белый, как мел, бледнее Таси, ез-довой Володя не бросил ей ненавидяще, напрямки:

— Эх ты! А мы тебя за честную держали!..

Все смолкли. Молча сели завтракать — и тогда Тася отчаянно, на разрыв, за-кричала, зажимая уши от собственного крика ледяными кулачками:

— А вы? Где вы были, хорошие?! Отвели и бросили — а мне как? А пароль? А дальше что — выкручивайся сама, как знаешь? А теперь казните? Да будьте вы прокляты!

Сухонькие, пахнущие печным дымком добрые руки обняли ее за плечи, увели с лобного места:

— Ляж, дочко! Полеж. Ось я тебе вкрию — полеж...

До вечера никто с ней не заговаривал, до вечера она молчала. Вечером, когда стали стелиться, молча перенесла свою торбу в угол, рядом с теленком, легла, ощущая боком его неуклюжее тепло, и закрыла глаза, не дожидаясь, пока заду-ют каганец. Но в сенях затопали, дверь отворилась:

— Это что же у вас задержанная с теленком спит — никого лучше не наш-лось?

— Все вы хороши! — огрызнулась Тася. — Я сама себе место выбрала.

Глупо! Уж лучше молчала бы...



— Завтра всех — в Волчанск, — оборачивается замнач к Золотареву, надевая рукавицы. Потом задерживает взгляд на Тасе — может, хочет что-то сказать? — и молча выходит. Тася провожает глазами его спину, тепло одетую белым полушубком: интересно, а как погон — сам пришел или ординарца заставил? Сам, наверное, все-таки самолюбие не позволило...

...Не идет сон. Вздыхает теленок, вздыхает и ворочается Тася. Не идет сон...

Наутро — мягкое, серенькое утро — ездовой Володя запрягает в розвальни сытую лошадку.

— Ну что ж, — говорит Золотарев — поедешь в Волчанск. Сухой паек Володя на вас получил. Получишь в Волчанске.

— В Волчанск — куда? Куда в Волчанске?

— В тюрьму, надо полагать. Или в милицию. Там видно будет.

Много-много кузнечиков начинают вдруг стрекотать у Таси в голове.

Она аккуратно складывает кавалерийскую шинель, которую ей дал Золотарев, стягивает валенки:

— Вот, возьмите, это ваше. Да, постойте — еще портянки...

— Ты что, Бог с тобой!

— Нет-нет, мне не нужно.

Но в хату заглядывает Христя и сердито говорит:

— Долго ждать, что ли? Айда скорее!

Тася влезает в свои рваные бурки и выходит, низко наклонив голову, чтобы никто не видел ее лица.

На розвальнях пятеро мужиков с тусклыми, одинаковыми физиономиями. Тася садится, ездовой Володя трогает поводья, и розвальни, легонько шипя полозьями, выезжают на дорогу. Ночью выпал снежок, дорога мягкая, как перина; одинокие ленивые снежинки влажно садятся на щеки, на ресницы... Забывшись, Тася поднимает разгоряченное лицо им навстречу — но улыбка тут же вянет, неуместная, ненужная... Ведь не поверили же — не поверили ей вчера!.. А в Волчанске?

Справа встают тихие, приземистые хаты, кое-где струятся дымки. Пахнет утром, домом, началом дня. По дороге навстречу им человек в белом полушубке несет что-то большое и круглое. Скользнув по встречному близоруким взглядом, Тася отводит глаза. И вдруг он останавливается, роняя свою ношу:

— Тася! Тасенька! Таська!

Удивление, радость, отчаяние — все, все в этом голосе! Кто это?

— Володя, Володенька, останови! Попридержи, Володя!..

Ездовой оборачивает к ней недоброе лицо и что есть силы нахлестывает кобылу. Он хлещет ее по бокам, под живот — кобылка послушно частит ногами в белых чулочках, розвальни ускоряют бег, и встречный остается позади... Он что-то кричит, он машет Тасе рукой, и она машет ему в отчаянии: никогда, никогда в жизни не узнает она, кто это был!.. Ведь война, ведь завтра его могут убить — Господи, хоть бы разглядеть его лицо!

— За что? За что, Володя?

Не отвечая, Володя передергивает плечами. Тот, в белом полушубке, все еще стоит на дороге и все еще смотрит им вслед, и большое, черное лежит у его ног... Фигура его удаляется, удаляется — уже едва видна — а он все не трогается с места...

В Волчанской милиции паника, суэта. В помещении, куда их привели, снуют какие-то люди, военные и невоенные, тащат какие-то ящики, бумаги... Тут же, на полу, другие арестованные — женщины отдельно, мужчины отдельно. Говорят, милиция эвакуируется. Арестованных отправят пешим ходом на Валуйки.

...Странно все это было: спокойными посреди этой кутерьмы и сумятицы почему-то оставались арестованные (вот как тебя уже называют — арестованная!)... Оно, конечно, кто знает, что там у каждого творилось в середине, но во всяком случае, они тихо лежали или сидели — кому как посчастливилось. Некоторые вполголоса разговаривали, некоторые молча думали свое, а мимо них, вокруг них бегали, сустились, кричали, бранились вольные. Мужиков отвели куда-то в другое место. Мелькнул Володя. Тася посовестились спросить его про паек, хотя есть уже сильно хотелось, но он сам, встретив ее голодный взгляд, обидно бросил на ходу:

— Продукты я мужикам отдал. Небось не пропадешь, разживешься у кого-нибудь.

Тася сглотнула горькую слюну — и смирилась. Она, пожалуй, и сама не знала, что было горше: то, что он отдал кому-то ее паек, оставив ее голодной, или то, что даже не попрощался; а ей так хотелось сказать: послушай, Володя, не думай обо мне плохо — честное слово, я не такая!..

А почему, собственно, ты вообразила, что он будет о тебе думать? Какое дело рядовому конвойного взвода до твоей судьбы, в которую он так бездумно, так безжалостно вмешался? Это ты, задыхаясь под нарами, будешь вспоминать, как он, нехорошо оскалась, нахлестывал лошадь, и неразгаданная фигура в белом полушубке будет все отдаляться, отдаляться, уходить от тебя навсегда...

Кто это мог быть? Илюша Разовский, который всегда занимал тебе место в читальне на набережной и, не дождавшись, оставлял записочку в кармашке твоего формуляра? Или Игорь-Игруня из соседнего двора? Или Борис, взрослый брат твоей подружки, который водил вас есть мороженое — божественные разноцветные шарики в плоских вазочках на высоких, тонких ножках! — и ходил с тобой на каток? Или тот, единственный, который не знал и уже никогда не узнает, кем он для тебя был?

Нет, не было дела ездовому Володе до того, что он перечеркнул взмахом кнута, до того, как жжет тебя рубец от этого удара... Не было ему дела!

...Господи, Боже мой, да как же она сразу не подумала! Волчанск! Это ведь здесь где-то ее раненые — может, Ташабаев еще здесь, на улице Ленина? Ну не он, так кто-то другой — не важно, что она не знает их фамилий, это ж не трудно установить, найти — да тот же комиссар, в конце концов — пусть его спросят! И сразу все выяснится — ну конечно же, все сразу выяснится — как она раньше об

этом не подумала! Тут час всего и дела-то, наверное, — Волчанск ведь небольшой! Это же так просто — только к кому тут обратиться?

— Никто с тобой валандаться не станет. Не видишь — драпают?

Девушка в шинели, с вялым нежно-розовым лицом, нежными полуоткрытыми губами, стриженная в скобку, все время лениво почесывается, обнажая теплое, парное тело. И чего она чешется — вши, что ли? Тася тихонько отодвигается, стараясь сделать это незаметно, — еще обидится!

— Им сейчас ни до кого. Вас этапом погонят...

— А тебя?

— Меня отпустят. Или расстреляют...

Странная какая! И что за ней такого, что могут расстрелять или отпустить? И почему в шинели?

— А вот потому!

И достает из кармана маленькое зеркальце. Спокойным, медленным, холодным взглядом рассматривает внимательно, по частям, свое лицо: русые шелковистые брови, один зеленый глаз, другой зеленый глаз, мягкий, круглый подбородок...

И действительно — кто-то заглядывает в помещение, выкликает:

— Леонова! С вещами!

Девушка лениво поднимается, оглядывается на Тасю — вот так! Я же говорила... И уходит, небрежно волоча вещмешок. Куда?

К Тасе пододвигается другая — сдобная коротышка с вострым носиком и быстрыми карими глазами, чем-то похожая на воробыху или на жаворонка, которых пекли в Вербное воскресенье. «Сидор» у нее тоже плотный, на совесть набитый харчами; она аккуратно, с аппетитом ест, откусывая частыми мелкими зубами розовое, с прожилками сало и пышную ржаную перепечку — толстенские, с мизинец, стаканом вырезанные коржики.

Тася старается не смотреть, это ей почти удастся, но востроносенькая, поймав ее взгляд, протягивает крепенькой ручкой смуглый, с коричневым волдыриком, загорелый коржик: на, мне еще принесут, а ты ж не тутошняя, верно я говорю?

Тася кивает и осторожно вгрызается в коржик — он тугой и сладкий. В детстве, помнится, коржики были хрустящие, этот — нет...

— На соде. Наспех пекли — вдруг угонят. Сказала маманя, еще передаст. Дорога, верно, дальняя. Конвой, их тоже угощать надо — может, пригодятся. И в лагере, батя наказывал, лучше сама недоешь, а с бригадиром поделись. Сильных, кого бояться, всех прикармливай. Приручай. С умом и в лагере жить можно.

Это точно: такая не пропадет!

— Тебя как зовут? Тася? Это что же такое — Настя, что ли? Или Татьяна? Во-на имя какое — интеллигентное! А меня — Мария, Маруся Купина. Купины мы, из Караечного. Тут, под Волчанском. А то еще целое село есть — Купино. Нас хохлы знаешь как дразнят? «Ка-а-была ка-а-рову за-ка-а-лола!» А ты, видать, харьковская? Ничего девка, красивая из себя — только тоща больно. Тонкий, звонкий и прозрачный, как говорят... Тебе бы подхарчиться маленько — еще как на тебя падать будут! Это я тебе точно говорю: мы с тобой всем лагерем крутить будем.



Не хочет Тася крутить всем лагерем, не надо ей! Ей бы добиться, чтобы раненых ее отыскиали или комиссара госпиталя — пусть подтвердит, кто она. Только это — больше ничего.

Но парень с трофейным автоматом отгоняет ее от дверей: ничего не знаю, меня не касается.

А что если госпиталь уже свернули и раненых вывезли? До каких же пор тогда будут ее передавать с рук на руки?

Интересно, а эти вот женщины — кто они? За что их? Ведь просто так не арестовали бы... Постой, а как же ты? Наверное, ошибки тоже бывают. Но вот Маруся — что-то она за собой знает, раз о лагере говорит?

Спросить бы: лагерь — это пока разберутся или, наоборот, — когда уже засудят? Нет, наверное, когда осудят, тогда тюрьма. Или по-разному бывает?..

...Эх, сколько раз за эти дни она была совсем близко, твоя свобода! Только руку протяни, только чуть решительнее шагни навстречу!

Сказано тебе было: иди в Молодовую, не задерживайся — дождалась, пока под конвоем повели. Выбросило тебя, сонную, из тачанки — судьба, судьба! — нет, сама погналась за своей неволей. Наконец привезли тебя в Волчанск — достучись, докричись! — далеко ли до улицы Ленина, до госпиталя? А ты сникла от грубого окрика, отступилась, застыла, завороженная чужим равнодушием, — в ожидании? Чего?

Ну вот и дождалась.

— Выходи по списку. С вещами. Купина!

— Я Купина!

— Пахорукова! Гарднер! Драчова! Цыганкова!

Маруся подбросила свои два «сидора», чтобы поладнее легли на плечо, твердо шагнула к выходу: с Богом! Потянулись за ней, разминая затекшие, отсиженные ноги.

Во дворе уже выстроили мужиков — те, что прибыли вместе с Тасей, которым Володя отдал ее паек, и еще какие-то, тоже скучно-серые. К ним подстраиваются пятеро женщин: тихая, с лицом скорбящей богоматери Елизавета Пахорукова, курносенькая, в светлых кудряшках Нюра Цыганкова, высокая, с темными провальями близко посаженных глазниц Анна Драчова, плотненькая — Котигорошком — Маруся. И Тася.

Вот только что вы были разные, каждая со своей биографией, со своей, единственной, судьбой — и вот вы уже одно: многоголовое, многоногое, безликое, с единым именем — этап.

Приносят ведра, мешок с хлебом и продуктами и — с Богом, как сказала Маруся Купина.

Молчаливые улочки, крылечки с кружевными навесами, окна со ставнями и без ставен... Вот такой же навес был над крыльцом того дома, где она прощалась с Ташабаевым...

— Скажите, мы по улице Ленина идти не будем?

— Нет, а тебе зачем?



— А комендатуру проходить?

— Оно тебе надо?

Еще как надо! Может, комендант ее помнит, может, комиссар дал бы ей справку... Тася уже понимает, что никто никаким словам не верит, и надо справку, и комиссар мог бы ее дать, и комендант тоже, но конвойные и слышать не хотят, им не важно, кто она такая — они сопровождают одиннадцать штук арестованных, а что каждый из них собой представляет — это им без разницы.

Мостик через речку — речка называется Вовча... Отступает, остается позади уютный городок с узорчатыми коваными решетками — главный ее свидетель. Чем дальше, тем труднее будет доказывать свою правоту. Отчаяние набухает, растет, подступает к горлу. Нашарив в кармане смятый, нечистый платок, Тася прижимает его к губам, чтобы удержать — не дать отчаянию вырваться наружу, и безнадежно бредет, наклоняясь навстречу ветру. Рваные бурки с галошами нещадно натирают ноги, портянки присыхают к лопнувшим водянкам. Превозмогая боль, Тася плетется в хвосте, конвойные костерят ее на чем свет стоит, но все равно, как ни старайся, остальные все сильнее ее, они сытее, и ей неведомо идти с ними вровень...

А после тебя будет спрашивать дотошный, напористый следователь, на какой улице Волчанска находилась комендатура. Госпиталь? Номер госпиталя? Что за госпиталь — полевой, армейский, эвакогоспиталь? Фамилия комиссара и начальника госпиталя? И с каждым твоим «не знаю», все отчетливее будет звучать в его голосе уличающее тебя торжество, все ниже будет клониться твоя голова, и острее будет боль, словно это не вопросы, а гвозди, которые все прочней и безнадежней приколачивают, распинают тебя на тяжком кресте несвободы. И на мгновение ты отключишься и перестанешь его слышать, потому что вдруг тебе покажется чрезвычайно важным представить себе, как распинали Христа: то ли прибили его, лежащего, к распятию и подняли потом, то ли так вот, как ты, он сидел — и гвоздь за гвоздем прибивали его ладони, а потом подняли, распятого, как знамя своего торжества?

Шли то зимником, то тропками, реже — большой дорогой. На больших привалах варили в ведрах затирку и чай. Куховарила Маруся Купина. Она ела вместе с конвоирами, подкладывая им по коржику или по кусочку розового сала. Если случалось, что конвоиры черпали баланду из общего ведра, свои миски они досаливали отдельно: соль была драгоценна, на арестованных ее экономили. Те, у кого были домашние харчи, ели их отворачиваясь, хоронясь друг от друга. Тася, у которой не было ничего, садилась чуть осторонь: пусть себе едят спокойно...

Днем, когда дорога раскисала, идти становилось совсем тяжело. Ноги с трудом вычмокивались из грязи, губы сохли, приставая к зубам, и все чаще выталкивали хриплое: попить бы!..

У поваленного телеграфного столба, где дорога пошла карабкаться на взлобок, перекур.

— Кто пить хотел? Валяйте, — милостиво разрешил конвойный. — Только по-быстрому.



На обычине, промыв неглубокую ложбинку, тихонько булькая на вымоинах, струится говорливый ручеек. Кто-то подобрал валявшуюся на снегу немецкую каску, ополоснул холодной струей. От ледяной сладости глотка заломило зубы, терпко задубело все во рту.

— Много не пей, тяжело будет идти, — неодобрительно говорит Маруся.

И все-то она знает!

Тася с сожалением отрывает край каски от губ.

— Напились? Тогда кончай ночевать, — командует старшой и давит сапогом сигарку.

Нехотя вскидывают вещмешки, нехотя налегают на невидимую лямку — тянутся в гору. В гору — сердце у Таси обмирает. Ноги немеют — хоть руками переставляй. Поэтому, в тяжелой этой работе, Тася не сразу различает, что там кричат сверху — ей не до того. Глаза неотрывно упираются в зыбкую хлябь дороги, предупреждают Тасю: держись, держись — не позволяй себе упасть!

И только дотянув до самой макушки, натужно переводя дух, видит Тася, откуда берет начало веселый ручеек: в неглубокой ямке, вывернув подломившиеся ноги, распахнув, как в присядке, руки, выкатил тусклый остановившийся глаз чужой солдат в набухшей рыжей шинели. Снег под ним подтаял и просел, вмятина наполнилась тихой водой, она не спеша переливается через край, нежно и радостно лепеча, играет бликами, бежит по склону...

Судороги неукротимой, опустошающей рвоты накатывают, сотрясая тело, выворачивают пустой желудок, сдавливают горло, выжимая слезы.

— Мадьяр, — равнодушно роняет кто-то.

Днем, завидев вдалеке село, старшой чаще всего сворачивал с дороги и вел полем — благо снег уже посерел и уплотнился. На этот раз, однако, не свернул: ни одной хаты не осталось на горьком пепелище, ни одной клуни или сарайчика — только черные дымари да чадающие груды углей. Одичало шарахались тощие кошки; у нескольких печей жалко копошились темные, будто тоже обугленные, фигуры, колдовали над черными чугунками. Тошновато тянуло гарью, скрипели под ветром какие-то железки.

Молча миновали то, что было селом, молча спустились в балочку. Вышли на шлях, с облегчением вдохнули сыроватый, острый ветер — и ахнули: одного нет! Спихватились, что дорогой он все жаловался на живот, отбегал «до витру» и незаметно — верно, где-то в развалинах — затаился.

Конвойные осатанели: возвращаться, искать — бесполезно, ищи ветра в поле! Построили всех цепочкой, велели не отставать — и повели, один в голове, другой замыкающим. Вот так теперь: если раньше ты плелась, то отставая, то нагоняя на спусках, то теперь замыкающий шел, буквально наступая тебе на пятки, и небо казалось с овчинку от грубой боли, когда квадратный носок кирзового сапога вдруг задевал твою стертую ногу.

На проселке им попался встречный — одинокий, худой, изможденный мужичонка. Что произошло дальше, Тася так и не поняла: то ли не было у него документов, то ли были не в порядке — только конвойные схватили его и погнали вместе с этапом. Он даже не очень протестовал, бедняга, — только все время



повторял что-то, потрясая перед грудью сложенными в ковшик руками. Может, он и сам поверил: раз тебя взяли, значит, за тобой уже вырастает черной тенью какая-то смутная вина — ведь просто так у нас не сажают!

И снова арестованных одиннадцать: минус один, плюс один — и все в ажуре!

Где он сейчас, этот случайный встречный? Может, в соседней камере? Может, так же, как ты, ворочается под нарами — он ведь такой, он тоже места наверху не захватит — и сыплется на него сверху, и липнет к телу чужой колючий сор?

Ты все отставала, ковыляя на стертых ногах, прикрывая ладонью, как птицу, трепыхающееся в горле сердце. Это был предел — быстрее ты не могла. Конвойные злились, ты нарушала их планы: время уходило, расходовались продукты — а они рассчитывали продукты попридержать.

Конечно, ты была им обузой — и наконец замыкающий, которому надоело плестись за тобой, сказал:

— Ты вот что: ты отойди в сторонку, вроде за нуждой — и тикай. Я мимо выстрелю, ты не бойся. Раз-два выстрелю — а ты тикай. Заховайся в ярочке, пережди — и будь здорова!

Ты поняла: это все! Конец! «При попытке к бегству...» Ты увидела себя, свое тело в яме, заполненной водой, свои раскинутые руки, свои пальцы, царапающие снег, и запротестовала отчаянно: нет, нет, не надо, я не хочу!..

— Ну, смотри, я же тебе по-хорошему...

И внутри екнуло: смотри!..

Под Валуйками, перед Осколом вышли на луг, весь залитый водой. Вода стояла синеватая, прозрачная, поверх нерастаявшего снега; ноги, окоченелые, безнадежно мокрые, рассыпали колючие, студеные брызги, как осколки битого стекла — и вдруг белесое небо зарычало, заревело, вспоротое моторами: над лугом низко и грозно, ничем не рискуя, шли строем немецкие самолеты.

«Ложись!» — прозвучала нелепая команда. Ну как лечь в эту стеклянную стынь?! Да и какой был в этом смысл — выстелиться черной цепочкой на белом фоне? Рвануться в сторону никто, кроме конвойных, не посмел: этап продолжал тупо и обреченно шлепать по воде. Один самолет, оторвавшись от строя, с ревом пронесся над головами, рассыпав вдоль дороги пунктир острых фонтанчиков, затем развернулся, повернул назад — и снова прострочил луг вдоль жалкой цепочки обмирающих людей. Промahnуться было невозможно: цель была четкой и беззащитной. Стрелок просто издевался, играя с ними, как кошка с мышью.

Волоча за собой тяжкий шлейф рева, самолеты прошли на Валуйки, и уши заткнула внезапная тишина. Живы? Никто не ранен, но разве это значит — живы? Смерть все еще висела в этой противоестественной тишине, и забористый мат, кнутом хлестнувший по ногам, был воспринят с облегчением, почти с благодарностью — значит, живы!

Сколько раз с тех пор ты пожалела, что не осталась черным комочком на этом студеном лугу? И сколько раз еще пожалеешь?



...Если стать на батарею и ухватиться за прутья решетки, можно подтянуться и сквозь шелку в коробе увидеть далекий блеск реки. Это Волга. Думала ли ты когда-нибудь, что вот так впервые ее увидишь? Кому, какому извергу пришло в голову превратить церковь в тюрьму? Какая это тюрьма — следственная? Пересыльная? Сколько дней и ночей предстоит тебе здесь провести? Что думают проходящие мимо люди, поднимая глаза на незрячую, как Вий, колокольную с тяжкими веками деревянных коробов?

Спасибо Зине: встала у двери, будто ненароком заслонила глазок. Если только надзиратель увидит, не миновать тебе карцера. Да и Зина тоже рискует. И все-таки — с какой жадностью вливаешься взглядом в эту сверкающую полоску! Словно сама свобода струится там под солнцем...

...А тогда перед глазами лежал — Оскол скованный, затаившийся, а за Осколом — неизвестность...

Глаза у Зины зеленые, как крыжовник, и грустные за прямыми, недлинными ресницами. Лоб у нее крутой, выпуклый, как у маленького Ленина, а лицо под ним, худое, веснушчатый, сходится треугольником к острому подбородку. Тасе почему-то кажется, что такими бывают ленинградки: серьезные, немногословные...

— Зина, слушай — хочешь, я тебе стихи почитаю?

— ?

— Только что придумала. Хочешь?

«Как боль зубную, я тоску смиряю
И свой постылый камерный мирок
Который раз шагами измеряю:
Шестнадцать вдоль и восемь поперек.
И мне, в моей тюремной колокольне,
Сквозь щели досками забитого окна
Весенний шум доносит ветер вольный,
И Волга равнодушная видна...
А по ночам — за ночью ночь — не спится,
И та же мысль — зачем теперь мне жить? —
Как черный ворон, роковая птица,
Над бедной головой моей кружит...»

Ты думала, она скажет — ты что, как это «зачем жить?»! А она обращает к тебе задумчивые крыжовины и говорит:

— А почему «равнодушная»?

...А тогда перед глазами лежал Оскол — скованный, затаившийся, а за Осколом — неизвестность...

Валуйки этап не приняли. Тюрьма была пуста; перед зданием милиции ветер кружил обрывки бумажек и беспомощные матюки конвойных. Этап постоял, лошадиному переминаясь с ноги на ногу, конвойные, отойдя в сторонку, посоветовались — «и пошли они, солнцем палимы...» Кстати, какая тогда была погода? Нет, не вспомнить. Погоды не было...

...Вышли к железнодорожному полотну, и вдруг на каком-то разъезде — или просто в степи — неожиданно повезло: засопев, притираясь к этапу красным боком, остановился какой-то состав. Конвоиры закричали: «Садись!» Цепляясь за протянутые руки, перевалились в теплушку, растянулись на соломе, кем-то скупно разбросанной по полу, блаженно распрямили гудящие ноги: красота! Старший конвойный суетливо, как квочка, пересчитал свой выводок: все на месте, всё в ажуре. Маруся Купина развязала свой «сидор», разломила перепечку — себе и конвойным. Тася отвернулась: это уже вошло в привычку — отворачиваться, когда другие едят.

— О чем грустишь, чернявая?

Летчики. Молодые, веселые и в некрасивости красивые — так щедро распахнуты их улыбки. Тасе кажется, ей уже целую вечность никто не улыбался — спасибо, ребята! На переформировку, наверное? А ты откуда? Ах, из Харькова? Были мы в твоём Харькове, бились за него...

Ну, надо же! И Тася торопится им рассказать всю горькую, гордую правду этих месяцев — пусть знают, за какой город сражались!

Отбили? Нет еще?

— Отобьем, не сомневайся! — И в подкрепление веселый голосок трофейной губной гармоники: «Эх, путь-дорожка, еще, еще немножко...»

— «И город родимый мы снова отобьем», — подхватывают ребята...

Так не бывает! Так просто не бывает, чтобы на горьком твоём пути вдруг догнала тебя песня, которую ты сама сложила, как кирпичики осторожно вкладывая в нее горячие слова! И сказать об этом нельзя, нехорошо, нескромно — можно только радоваться встрече, радоваться, что она жива, прижилась на знакомый мотив, как здоровый привой на яблоньке, и поют ее такие славные ребята — золотые ребята, ей-богу! А если тебе при этом хочется зареветь — это уж извините, это уж просто срам, перестань сейчас же!

Но они катятся, как горох — нелепые, непростительные, дурацкие слезы; и ребята суетятся растерянно, суют тебе, как маленькой, толстые ломти свежего, душистого хлеба, густо намазанные трофейным маслом и медом. Такими нарядными брикетиками снабжает своих солдат заботливая Германия: смешанно, спрессованно — мажь и ешь!

Под колесами вагонов грохочет мост, под мостом белая река — смотрите, лед тронулся!..

Трескаются, толкаются, наползают друг на друга льдины; на одной, широко раскинув руки, медленно кружится вмерзшая в лед, присыпанная снегом бурая шинель: то ли свой, то ли чужой — не разглядеть...

Тронулся лед, пошла весна — какой она будет, весна сорок третьего?..

— А вы куда — вербованные, что ли?

Все, все!.. Кончилась твоя недолгая радость, разбилась, как стеклянный елочный шарик:

— Арестованные мы...

— Как это? За что?

— За что, спрашиваешь? Шлюха она, подстилка немецкая — вот за что, — вторгается в разговор старшой, пинком откидывая тебя в сторону.

Лица — застывающие, твердеющие в брезгливом отчуждении.

— Нет, нет, не верьте, — кричит твое отчаяние, — я расскажу!..

— С арестованными в разговоры не вступать — слышь, лейтенант, я кому говорю, не положено!

Летчики отодвигаются — какими глазами они на тебя смотрят, какими глазами! И все молчат, только Маруся Купина с досадой роняет:

— Эх, нет ума — на базаре не купишь!..

Вдруг вспоминаешь, что в руке у тебя недоеденный ломоть — пальцы клеятся от меда. Что с ним делать теперь? Доесть — уже невозможно, бросить — разве можно бросать хлеб?!

Слава Богу, кончается эта му́ка: состав замедляет ход и тихо, словно задумавшись, останавливается.

— Выходи, — кричит старшой, прыгая на землю.

— Шевелись, шевелись, — поторапливает второй, подталкивая к выходу. — Все, что ли?

— Все, — говорит Маруся.

И эшелон, будто только этого и ждал, заскрипев, трогается.

И тут — слушайте, честное слово, есть Бог на свете! — один из ребят, рыженький лейтенантик, вскочил на ноги и, размахивая шапкой, крикнул тебе:

— Не горюй! Слышишь — не горюй! Все будет хорошо, вот увидишь! Счастливо!

И петушиным тенорком запел:

— «Эх, путь-дорожка, еще, еще немножко...»

— «И город родимый мы снова отобьем...» — откликнулось в теплушке и покатилося по рельсам.

— Если бы эта курва язык не распустила, до самых Лисок бы доехали, — мечтательно ругнулся конвойный и цыкнул сквозь зубы желтой махорочной слюной...

Лиски... Ничего не вспомнить! Если Острогожск запомнился множеством церквей, узкими тротуарами (Маруся Купина шла по тротуару, рядом с конвойными, вроде просто знакомая, а остальные — строем по мостовой), то Лиски — это безликие улицы, одноэтажные дома и белые хаты да отдыхающие от снега парные огороды. Наверное, окраина, наверное, близко к станции. Длинное, нелепое строение с глиняным полом, и на полу, покотом — люди. Сколько их тут набилось — наверное, согнали из разных мест. В два ряда, друг против друга, головами к стене, пятками к проходу. Впрочем, какой там проход — так, узкая тропочка, пунктирчик — кому нужно в отхожее, пробирается по ногам.

Слева от Таси — старуха-немка. Лицо у Матильды Карловны узкое, белое, в слабых веснушках: веснушки на узких белых руках, веснушки на выпцветшей



радужке глаз и синеватых губах; аккуратные рыжие брови и неожиданные, молодые волосы — густые, волнистые, кудрявящиеся локонами на костлявых плечах — удивительные волосы цвета спелой пшеницы с серебром. Почти все время Матильда лежит неподвижно, закрыв глаза, и только изредка озирается со страхом и отвращением. Когда Тася опустилась с ней рядом, старуха открыла глаза и, отпихивая Тасин вещмешок, твякнула визгливо и отчаянно, как затравленная лиса:

— Уберите этот грязь!

Ну да, конечно: сама вся чистенькая, из-под вязаной кофты беленький воротничок с кружавчиками, и твердые желтоватые ногти тоже безукоризненно чисты. Здешня, наверное: прогнали бы ее по раскисшим дорогам, повалялась бы, не раздеваясь, на грязной соломе, небось не кричала бы «грязь!».

Никто ни с кем не разговаривает. Куда девались болтуны, говоруны, наконец, просто общительные люди? Каждый сам по себе, каждый тупо, тягостно одинок — может быть, потому что их так много?

Рядом молчит Маруся Купина. Зря она скармливала свои коржики: конвоиры сдали этап — и до свидания! Пропали харчи — задаром пропали! Теперь охрана новая, все в военном, все разные, все время меняются — как тут угадаешь, на кого делать ставку. Вот и молчит Маруся, думает свою думу, проигрывает варианты...

Напротив, пятками к Тасиным пяткам, мучается поносом молодой зеленоглазый парень. Когда он трудно поднимается, чтобы спешить за нуждой, Тасе кажется, что крупные его кости вот-вот прорвут зеленоватую кожу. Следом за ним тянется густое зловоние. Матильда сквозь зубы чуть слышно выталкивает неимоверное слово — что-то вроде «швайнехунд». Свинячья собака, что ли? Ну и слова они изобретают, эти немцы!

Тасю тоже мутит от этого запаха, но перебраться некуда — ни одного свободного местечка. Надо было раньше смотреть, куда садишься. Вытянувшись рядом с Матильдой — та брезгливо сжимается — Тася перестает видеть, слышать, быть...

Сознание возвращается, начинаясь со слуха. Возникают крик, возня, жестяным лязгом вплетается Матильдин голос. Что-то случилось, но глаза не открываются — не открываются глаза, и все тут! Кто-то, матерясь, спотыкается о Тасины ноги: вся суета сосредотачивается здесь. Ничего не поделаешь — надо просыпаться.

Трое мужчин выволакивают парня, лежавшего напротив, — безжизненно свисает круглая стриженная голова.

— Обосрался, бедолага, перед смертью...

Боже мой, Боже мой, какая угодно смерть — только не такая! Пусть боль, пусть страх — только не это!

И, словно подслушав, крестится истоиво маленькая женщина в темных, с проседью, кудряшках, с лицом состарившейся девочки:

— Упаси, Господи, і крий, Матір Божа!..

Место напротив остается пустым. Как ни тесно, никто не хочет туда передвигаться — и жутко висит над ним тошнотворный запах.



Переступая через чужие ноги, Тася пробирается к выходу. Охранник преграждает ей путь: куда? Тася тычет пальцем в сторону деревянного строеньища в углу двора. Почему-то кажется, что указать не так стыдно, как разъяснять словами, куда и зачем ей надобно. Да и, если по-честному, никуда ей не надобно: просто уйти хоть на минутку от этой вони, глотнуть свежего воздуха, оглядеться по сторонам... Видно, размещали арестованных наспех: ни забора, ни проходной — натянули колючую проволоку, да и ту жиденько, чисто символически — в один ряд. По ту сторону проволоки женщина в зеленом платочке, подоткнув юбку, вскапывает грядки. Тасе кажется, что она слышит запах парной земли; кое-где пробиваются зеленые росточки, и так приятно, что платок у женщины тоже зеленый! Тася медлит, открывая скрипучую дверь сортира, и войдя, принакает к дырке в стене: ух, как хорошо, что кто-то выбил сучок в доске! Можно сколько хочешь наблюдать за женщиной в зеленом платочке, а вон и курица вышла! Какая-то пичуга скачет по вскопанной земле, выскивает всяческую живность. Когда женщина разгибается, чтобы передохнуть, пичуга мелким скоком подбирается поближе и, склонив голову набок, ждет...

Хлорка ест глаза — наверное, недавно насыпали, уже после того, — глаза слезятся, но нестерпимо больно отрываться от всех этих милых мелочей, которые вчера еще можно было видеть, не замечая...

Однако надо идти. Вышла, окликнула нерешительно:

— Бог в помощь!

Женщина подняла голову, поправила платочек и несмело улыбнулась:

— Спаси Христос, милая! Вот, согрешила: праздник нынче, а я копаю. Ты из этих?

Хотела спросить — из каких, но поняла, молча кивнула.

— Постой, погоди, я мигом!

Бросила лопату, метнулась к дому, вытирая руки о передник, снова выбежала, неся что-то в тряпице:

— На-ко вот, возьми! Печь-то я ничего не пекла — какие нынче куличи! Хоть крашенки возьми заради Христа!

— Эй, ты! А ну отойди от забора! — настигает их зычный окрик. — Это что за разговорчики там!

Кусок лепешки, два желтеньких — луковой шелухой крашены? — яичка...

— Спасибо вам!..

Охранник грозно хватается за винтовку:

— Кому говорят, на место! Разгулялась, понимаешь!

И тихонько добавляет:

— Сховай, дура!..

Крашенки — Пасха, что ли?

Праздник... Значит, воскресенье сегодня... А день, число какое? Как там у гоголевского Поприщина — тридцать пятое мартабря...

Ранняя Пасха в этом году... Папа и тетя Тоня особенно любили этот праздник — ласковый, таинственный... Рассказывали, что, когда бабушка ставила тесто на куличи, все ходили на цыпочках, разговаривали вполголоса: Боже упаси шуметь — пасха выйдет «с птицей»! Что такое «птица», никто, кажется, не знал — но



ходили на цыпочках! Папа и тетя Тоня куличей не пекли: не из чего, не на чем, да и нельзя — но все равно пасхальный дух поселялся в квартире. Все в доме становилось необыкновенно: мыли окна, впервые после долгой зимы открывали — от вымытых окон в комнатах сразу становилось светло и радостно. Так они с сестрой и считали: Светлое Христово Воскресенье — это потому, что окна вымыты. А до того бывает еще Чистый Четверг. В Чистый Четверг день, как правило, начинался неприятностью: из кладовки извлекали жестяную ванну, грели на керосинке воду — и начиналось купание. Тетка истово терла мочалкой Тасину спину и бока, но особенно доставалось локтям и коленкам. Сама белокожая, она относилась к Тасиной смуглоте с неизменной подозрительностью и драила ее, как самовар, до медно-красного самоварного сияния. Хуже всего, однако, была головомойка: едкое мыло лезло в глаза, тоненькие Тасины волосики путались и цеплялись за жесткие тети-Тонины пальцы, вода попадала в уши, Тася шипела. Иногда дело кончалось ревом. Зато потом ее одевали во все чистенькое, вкусно пахнущее утюгом, косички заканчивались бантиками — и слезы сами собой высыхали.

Когда отключали воду или не было керосина, жизнь осложнялась. Тетя Тоня складывала в плетеную кошелочку мыло, мочалки, полотенца и чистое белье и устраивала детворе «выволочку» в баню. Баню обе девочки дружно ненавидели. Во-первых, раздеваться при чужих было само по себе достаточно неприятно, во-вторых, не знаешь, куда девать глаза, когда вокруг тебя все чужие и голые. И кроме того, Тася ужасно страдала от некрасивости человеческих тел. Ей казалось, что в баню ходят в основном некрасивые: ведь на улице за целый день не увидишь столько уродства, как за час в бане: тощие, костлявые тела, на которых слишком просторная кожа болтается, как платье на вырост, оплывшие, животастые туши с ляжками, нависающими над коленями, как панталоны, морщинистые загорелые шеи, приставленные к белым плечам — как все это было оскорбительно, как заставляло тосковать по красоте! Какое брезгливое чувство она испытывала, когда какая-нибудь женщина, проходя мимо, задевала ее зыбкими, скользкими телесами или, выплескивая мыльную воду из шайки на склизкий каменный пол, обливала ее босые ноги! Ей казалось, что уродливостью можно заразиться, как чесоткой. Все это было ужасно — и последней пыткой был душ. Когда на Тасю обрушивались, барабани по лицу, по темени, бесчисленные тугие струйки горячей воды, ее охватывал страх: казалось, она вот-вот задохнется, захлебнется горячим паром. Она была твердо убеждена, что «душ» происходит от слов «душный», «душить». Но это уже, слава Богу, последняя пытка — и вот уже кожу холодит сквознячок предбанника, и Тася спешит натянуть на влажное еще тело чистое белье, и тетя Тоня бранит ее за то, что не вытирается как следует — но это уже все пустяки, главная мука уже позади, и ослабевшая от горячей воды и пережитых волнений, Тася настраивается на предстоящие радости.

После бани девочкам разрешали обернуть по яичку в линючие тряпочки (красок специальных не было), — и они с трепетом ждали, у кого лучше покрасится... А вечером — вечером папа брал их за руки, чистеньких и сияющих, как новые копейки, и, раскланиваясь со встречными знакомыми, чинно вел гулять.

Шли на Университетскую горку и сверху смотрели, как вытекает из церкви

долгая цепочка огней, как она раздваивается, делится на рукава, как трепещут в бумажных фонариках язычки свечей... Было красиво и таинственно, и никто не загонял домой, спать. Некоторые огоньки отделялись и поднимались на гору, и Тасе сквозь прищуренные ресницы казалось, что это будущие звездочки поднимаются в небо. Право, ради этой тихой красоты стоило вынести все мучения бани...

В детстве отец пел на клиросе — у него был прекрасный слух и серебряный мальчишеский альт. Все службы он знал наизусть, но пасхальную любил больше всех: «Смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав...»

А этот, которого сегодня вынесли, — ему не даровал... Хотя Корнеевна — та, что осеняла себя крестным знамением, когда его вытаскивали, сказала, что ему повезло: кто умер в день Благовещения или на Пасху, попадает прямо в рай — «Господь до себе прибирает...» Ну да, говорит, повезло — а сама небось: «Упаси, Господи, і крий, Матір Божа!...»

— За обедом подходи! Живо! После обеда — в баню!

В миске — жиденький клейстер ржаной затирки. Тошнотворный привкус: значит, сильвинитом послена. Сильвинит — это удобрение такое, оно на вкус солоноватое. Соль ведь семьдесят рублей стакан, ее на арестованных переводить не резон, и с сильвинитом сожрут — не гордые.

Зато баня — после этапа! — просто пасхальный подарок!

Построение во дворе: сорок человек, остальные потом. Первая переключка. Незнакомые фамилии, неизвестные лица... Молодой командир в белом, не припачканном еще полушубке, выкликая фамилии, вглядывается в лица, делает в списке какие-то пометки, что-то вполголоса говорит другому.

— Гарднер!

Надо отвечать имя, отчество, год рождения.

— Кто такая Гарднер Анастасия? Немка, что ли?

— Почему обязательно немка? Русская! У Лермонтова — помните? «Его фамилия Вернер, но он русский. Я знал одного немца, фамилия которого была Иванов»...

— Ишь, грамотная! — Отметил что-то в списке.

Строим до бани. Баня небольшая, у дверей охрана. Недолгое замешательство:

— Там еще мужики моются.

— Да шут с ними, авось не сглазят друг друга! Пока те домоются, эти раздеются. Их еще двести человек немытых — что, как вода кончится?

— Бабы, слушай сюда! Помывка — полчаса. По-быстрому. Заходи.

В крохотном предбанничке стол и стул. Краснолицая банщица в клеенчатом фартуке выдает мыло — куски вонючей коричневой замазки, величиной чуть побольше ириски.

— Раздеваться в бане. Проходи, живо!

В первые секунды ничего не разглядеть: холодный воздух, который они принесли с собой, сгущается клубами, сквозь пар снуют какие-то голые тела. Банщица зычно командует: раздеваться посередине!

Ага! Поперек зала, разгораживая его на две половины, — зеленые лавки с высокой спинкой, с крючками для одежды. На лавках шайки.



— Значит, так: по эту сторону бабы, по ту — мужики. Разберетесь!

Слава Богу, Тася близорукая. Когда ты не видишь других, так вроде и они тебя не видят. Главное — не видишь, что на тебя смотрят.

Рядом с Тасей опять Матильда. Этого еще не хватало! Опять она шипит, что бы Тася убрала «этот грязь»! Аккуратно раздевается, аккуратно складывает свое белье. У Таси такого белья сроду не было. Шелковое! И пояс для резинок — атласный, кремовый. У Таси всю жизнь просто круглые резинки были — если только не считать, когда совсем маленькая была, тогда чулочки к лифчику пристегивали...

И вдруг Матильда, издав придушенный мышинный писк, уронила шайку и бросилась в сторону, схватившись за голову.

Куда это она так прытко? Местечко, что ли, нашла получше? Ну и ладно, и слава Богу — без нее спокойней.

И вдруг кто-то сзади ахнул:

— Гляд-ка, никак мужа встретила!

Кто-то тронул Тасю за руку, молча повернул ее за плечи.

Две жалких старческих фигурки прильнули друг к другу в объятии по ту сторону всего — по ту сторону стыда, по ту сторону страха... Удивительные, живые Матильдины волосы рассыпались кольцами по острым, веснушчатым плечам, худые веснушчатые руки гладили редкую серую щетину на стариковских сморщенных щеках, на розовой коже головы...

Они стояли в облаках пара, как лошади на туманном утреннем лугу, положив головы друг другу на плечи, и увядшая, нищая их нагота никому не казалась ни смешной, ни стыдной. Боль этой нелепой, чудовищной встречи, ее бедная, пронзительная радость прозвучали нотой такой высокой, такой надрывной чистоты, что перед ней отступили все звуки — ничего больше не воспринимал Тасин потрясенный слух.

Какая-то женщина отвела ее в сторону, поставила под душ, намылила ей спину, сунула в руку ускользящий обмылок и, отходя, обронила:

— Не надо, не смотри — может, это в последний раз...

Тася едва успела ополоснуться, как дверь распахнулась и ввалилась новая партия женщин.

— Помывка закончена, освобождай места! — раздался трубный глас банщицы.

Натывая друг на друга, торопливо закутывая влажные волосы, они столпились в предбаннике. Только у Матильды волосы остались сухими.

И снова утро, и снова построение — и тот же, в белом полушубке, заканчивая перекличку, дает команду:

— Гарднер и Купина, два шага вперед! Остальные — разойдись!

Тася и Мария выходят из строя.

Тася устала. Ей уже все равно, куда и зачем их ведут, но Маруся, мгновенно оживляясь, подмигивает ей:

— Живем!

Какое-то учреждение, длинные, гулкие коридоры, полупустые комнаты. Сол-



датик приносит ведра и тряпки — задача ясна? Ведет в каморку, где фыркает водопроводный кран, выплевывая желтую, со ржавчинкой, воду. Мимо пробегает белый полушубок, бросает через плечо:

— Эту — ко мне, а ту — к Чернову.

Тася послушно бредет за солдатиком, в скучной комнате снимает пальто и платок, кладет на изрезанный, заляпанный чернилами стол, засучивает рукава — все лучше, чем маяться бездельем!

Полы крашенные, затоптанные, но еще почти не ободранные, мыть их приятно, тем более, что воды — хоть залейся. Тася с удовольствием ширкает тряпкой, гоня воду, разминая, растягивая зачерствевшие в неподвижности мышцы. Улыбается полу, обретающему изначальный блеск...

— И кто тебя только учил полы мыть? Ты как тряпку выкручиваешь — чисто мужик!

Кто это! А-а, этот! Ну что ты ему объяснять будешь, что моешь, как папа мыл, других примеров не видела?

— Вы бы не топтали лучше — подождали, пока высохнет!

— Ишь ты, еще командует!

Тася разгибается, до хруста в груди распрямляя спину. Наглые чужие руки охватывают ее сзади, дерзко и больно мнут соски:

— А ну-ка покажи, что ты еще умеешь! Я ведь с вашим эшелонем до самого конца. Туда и обратно — хочешь?

Тошно — ох, как тошно становится Тасе, если бы кто-нибудь знал!

— Пустите меня, — говорит она хрипло и тихо, — уберите руки! Какие вы все... одинаковые!

В коридоре гулко топают сапоги. Руки выпускают и отталкивают Тасю:

— Уведите арестованную.

Маруся приходит через час-полтора. Наклоняясь, роняет Тасе:

— Завтра отправка. В Казань...

Длинный, унылый, слепой эшелон. Линялые теплушки с узкими, зарешеченными полосками окон заглатывают одну за другой цепочки людей. Откуда их столько? Где они были, эти люди? Как умещались в тихих, одноэтажных Лисках? Кто здесь останется, когда эшелон отойдет? И кто где-то там, в Казани, будет разбираться в их беде или их вине?

Снова всех пересчитывают, как овец, назначают старосту вагона. Нет, не Марусю Купину, как ты думала, как думала она сама — другую, постарше.

Приносят ведро воды, пайки хлеба, говорят строго-настрого последние «нельзя» и дверь, тяжелую дверь теплушки задвигают и задраивают снаружи — ты же видела, знаешь, как это: тяжелый железный брус наискосок. Или, может быть, вагоны с живым грузом запираются иначе? Зато ты впервые видишь закрытую теплушку изнутри: такая большая деревянная коробка, полутемный ящик — и ты в ней, как пойманный жук в коробочке. Много жуков... Жуки сначала теснятся, пытаются ползать, мешают друг другу, а потом уже только слабо копошатся, подрагивают лапками, замирают... Замирают — как тот обгаженный парень — навсегда? Нет, нет: чтобы жуки не задохнулись, им оставляют щелки — вот эти



зарешеченные щелки — высоко, чтобы не выглядывали, не высовывали лапки, чтобы никто не знал — может, коробочка пустая или в ней какой-то нужный, совсем неживой груз?

Снаружи еще кто-то там бегают — ругаются, стучат по колесам, по каким-то другим железкам. Долго бегают, долго стучат; потом все смолкает — может, коробочку забыли? — потом поезд шумно, с шипением выдохнул, будто все разом вздохнули, прощаясь с бывшей жизнью, и коробочка задергалась, заболталась, как в мальчишечьем кармане на ходу...

Куда тебя увозят? Зачем? В далекую Казань, где никто тебя не знает, где некого о тебе спросить, где никто ни слова не скажет в твою защиту? Где уже никак, ничем нельзя доказать, что правда — это правда, а неправда — это неправда, глупость, выдумка...

И сколько молодых, крепких военных парней, здоровых, как тот, который тискал тебя в пустой комнате, едут с этим эшелоном от фронта?

Глаза постепенно привыкают к коричневатому — от стен — полумраку, и постепенно начинаешь различать лица женщин, копошащихся рядом с тобой. Где-то идет война, где-то люди погибают и спасают друг друга, где-то, в белизне гипса и бинтов, в запахах йода, больничного пота и крови — раненые, которых ты таскала под бомбежкой, которых везла через морозную мартовскую ночь, где-то яростный Ташабаев, где-то лихой комбат Володя Куруленко; все это другой мир, другая жизнь, и даже смерть там другая — чистая, не обгаженная, как та, что досталась тебе...

За стенками твоей коробочки движется мир, меняется пейзаж — ты так любила маленькой смотреть на пробегающие за вагонным окном деревья и столбы — но это там, там, там, ты из этого исключена, отторгнута, для тебя меняется только свет, просачивающийся сквозь решетки — больше света, меньше света...

Впрочем, в этих пределах тебе, можно сказать, повезло: во время погрузки Маруся швырнула твою торбу на нары рядом с собой. Сама умостила в углу, у стены — стена, конечно, холодит, но зато спокойно и торба в безопасности.

Третья от угла — Зинаида Борисовна, учительница из Великого Бурлука. Короткий нос, карие усталые глаза и нетолстые темные косы, уложенные вокруг головы. Милое, домашнее лицо — такие лица сразу кажутся давно знакомыми. И беспокойные руки, которые живут сами по себе — то складочку разглядят, то пуговку проверят, то дощечку приласкают... Ни о чем не спрашивая, сама о себе рассказала. Разрешили при немцах школу открыть начальную, ввели в младших классах Закон Божий. С интересом, между прочим, дети слушали — как сказку. А пришли наши — кто-то донес, может, те же родители: мол, работала, религию проповедовала — опиум для народа. Вот и все. Она и не надеется, что выпустят — знать бы только куда, на сколько... Дома сын остался — со свекровью остался. Большой уже, будет помнить. А муж где-то воюет. Как освободили, ни одного письма еще не получила, но ведь и похоронки, слава Богу, не было, а другим, кое-кому, уже поприходили...

Странно: вот ведь понимаешь, какой у нее в душе непокой, но почему-то именно к ней хочется тянуться за успокоением...

Рядом с Зинаидой Борисовной — староста вагона. Сняла козушок — ладный,

в талию, сложила аккуратно пуховый платок, достала из торбы другой, большой и толстый, подстелила вчетверо — устроилась! И принялась укладывать косы. Косы толстенные, чуть не в руку каждая — тяжелыми розами на ушах. Кажется, это их тяжесть клонит высокую нежную шею с нежным бугорком сзади. Такая мягкая женственность в линии затылка, и такая мужская твердость в подбородке, выдвинутом неправильным прикусом!..

Брезгливо копошится на своем месте Матильда; все умищаются, озираются, приглядываются друг к другу, а колеса стучат, стучат, катятся...

— Ты кричала во сне — приснилось что?

В последнее время ей часто снится одно и то же: ночная бомбежка, над степью — зарево пожара, разорванный рельсовый путь, груда искореженных вагонов и перевернутый паровоз с вращающимися в воздухе колесами...

За день до того, как наши оставили город, ей сказали, что мамин эшелон разбомбили под Купянском. Госпиталь, в котором мама работала вместе со своим вторым мужем, эвакуировался в самые последние дни...

В детстве, терзаемая жгучей ревностью и обидой, Тася часто мечтала: вот с ними что-нибудь случится — пожар, наводнение, какое-нибудь ужасное бедствие, — и она, Тася, их всех спасет: и маму, и новую дочку ее, синеглазую Галочку, и даже ненавистного Григория Семеновича, который маму от них увел. Она спасает их — и тогда мама понимает, какую любящую, какую преданную дочь она бросила, и, раскаявшись, возвращается к ним навсегда. В этом варианте была одна сложность: как быть с Галочкой? Наверное, все-таки было бы нехорошо бросить ее, как в свое время мама бросила их, поэтому Тася великодушно принимала их обеих. А Григорий Семенович был таким образом справедливо наказан. Но горький, хоть и маленький опыт подсказывал Тасе, что в жизни редко все бывает так замечательно хорошо, и поэтому перед Тасиным мысленным взором чаще прокручивался более жестокий вариант: Тася спасает их всех, да-да, непременно — и Григория Семеновича тоже! — но, смертельно простудившись в ледяной воде (вариант наводнения) или получив смертельные ожоги (вариант пожара), мучительно, но светло, всех простив, умирает, а мама, все поняв и раскаявшись, безутешно рыдает у ее постели. В этом случае в мечту иногда, на приличествующем расстоянии, допускается и главный злодей: терзаемый угрызениями совести, он приходил на одинокую могилку и рыдал, и молил о прощении, и давал неясные, но торжественные, клятвенные обещания совершить какие-то (насколько хватало Тасино воображения) благородные поступки.

И вот беда действительно пришла — но Таси с ними не было, она никого не спасла, — и теперь наваливается ночами глухое, душное чувство вины. Тогда она никому ничего не сказала — даже папе: ей все казалось, что пока об этом никому не говоришь, еще остается надежда. Но однажды они с соседкой пошли на менку. На каком-то глухом полустанке им удалось поцепиться на товарняк и затаиться на платформе (увидит охрана — убьют!), и вот тогда, на раздольном степном перегоне под Купянском увидела она под насыпью проросший травой искорверканный скелет состава и тот самый паровоз, лежащий вверх колесами. С тех пор и стали настигать ее по ночам эти страшные цветные сны: снова и снова она



металась, разыскивая мать среди изувеченных тел, кричала, плакала — и просыпалась в холодном поту...

...Зеленый карандаш — откуда он сюда закатился, кто обронил его в этой тюрьме на колесах? Зеленый карандаш, милый, драгоценный — как он радует руку! Ничего, что нет бумаги, — ведь можно писать на досках:

«...Ревело небо, гибель предвещая,
В предсмертном ужасе метался человек,
И поезд, в воздухе колесами вращая,
Стремился лежа продолжать свой бег...»

Все-таки легче... Может, если написать, оно тебя оставит?..

...Есть хочется. Дадут что-нибудь или нет? Оставшийся от пайки кусочек пахнет и не дает покоя. Съесть, что ли? Какая разница, сейчас или потом? По крайней мере, не будет душу травить. Еще не успела решить, а руки уже торопятся развернуть... Глядя на тебя и Марусю, и Зинаида Борисовна достают свои куски. Маруся запускает руку в торбу и достает брикетик горохового супа. Осторожно отклеив уголок, она отщипывает щепотку и посыпает хлеб желто-зеленым порошком. Потом, поколебавшись, снова отщипывает и посыпает твой кусочек и кусочек Зинаиды Борисовны. Подумать только — ведь до войны и в голову никому не приходило, как это вкусно! Надо же!

— Щось ви і мене розплямкали. Чуєш, дівко, дай посолонцювати! — деловито говорит Корнеевна из своего угла и тянется к Марусе со своим куском.

— Еще чего, — ощеривается Маруся. — С длинной рукой под церковь!

И решительно убирает вожащенное сокровище обратно в торбу.

А поезд качает, качает, громяхая на стыках; в противоположном углу закипает свара — это Анна Драчова задирает Матильду, а та беспомощно огрызается, срываясь на слабый визг, — такая одинокая среди всех! Хотя, в сущности, тут все одиноки, но Матильда Карловна к тому же еще и немка!

Вдруг вспомнилось, как на Госпитальную, где летом царил зеленоватый сумрак и несмолкающий галочий галдеж, однажды залетела нарядная голубая сойка. Галки тучей накинудись на непрошеную гостью: из орущего черного клубка, медленно кружась, падали на землю белые и голубые перышки...

Неожиданно, сильно, над мелкой грызней и стуком колес поднимается:

— Ой, з-за гори кам'яної голуби літають...

Обхватив колени, легонько раскачиваясь, староста, Елизавета Андреевна Жигалова, ведет:

— ...Не зазнала розкішюньки — вже й літа минають...

Тася чувствует, как холодеют пальцы и невыносимо напрягается все внутри.

— ...Запряжу я коні мої, коні воронії...

— Та й поїду здоганяти літа молодії, — низким голосом вступает красавица Даша.

«...Здоганяла, зустрічала на кленовім мості,
Ой, верніться ж, літа мої, хоч на час у гості!..»

И Корнеевна широким, по-деревенски резким, степным открытым звуком, непостижимым в таком тщедушном теле, лишает всех надежды:

«...Ні, не вернемось, ні, не вернемось, бо нема до чого —
Бо не вміла шанувати віку молодого!..»

Зина плачет навзрыд, а песня, слабея, прощается:

«— Ой, з-за гори кам'яної голуби літають...»
Не зазнала розкішньки — вже й літа минають...»

— Какой у вас голос, Лиза, — говорит Зинаида Борисовна. — Оперный голос. Тася молча гладит Лизавете Андреевне руку, а Даша просто говорит:

— Еще!

И, не дожидаясь запева, сама заводит:

— Їхав козак на війноньку...

И стучат колеса, и катятся теплушки, и летит над степью, сплетаясь с паровозным дымом, раздольная и печальная украинская песня...

Поезд останавливается. Маруся, выглянув в зарешеченное окно, констатирует: на голом месте. Кто-то, топая сапогами, пробегает мимо, кто-то, брякнув засовами, приоткрывает дверь:

— У вас, что ли, поют? Ладно, пойте, только чтобы на остановках тихо! — И добавляет: — Приварка сегодня не будет. Завтра будет. Вода будет на станции.

И закрывает дверь.

И снова остановка — теперь уже на большой станции. Шум, беготня. Приносят воду, снова предупреждают: смотрите, чтобы тихо!

Слева вплотную притирается встречный состав — с говором, смехом, всплесками гармонии. Эти — на фронт. Староста и Даша повисают на окне:

— Ребята, милые, Жигалова там нет среди вас?

— Из Купянска есть кто-нибудь?

— Откуда, девочки? Куда? Поехали с нами!

— Девчата, из Харькова есть кто?

Тася бросается прямо по нарам к окну, приникает к решетке:

— Я, я из Харькова! Слышите — я!

Но конвой не дремлет — снизу, как удар хлыста:

— А ну там, от окон! Прекратить разговоры! А вы тоже — соображать надо, с кем разговариваете! Даром за решетку не сажают: бляди это, овчарки немецкие!..

— Ах, курвы, дешевки, мать вашу!..

Огрызок соленого огурца пролетает мимо Тасинога уха; злые, жестокие слова — они не мимо, нет! — они быют без промаха, в самое сердце, хлещут по щекам, но руки не разжимаются, не отпускают решетки, не дают укрыться от обиды, забиться в угол. Можно увернуться от огрызка, но от этой боли все равно не спрячешься! И Тася упирается лбом в решетку, готовая вынести все до конца. Но тут кто-то сильный, кто-то мудрый разом прекращает эту пытку:



— Отставить! Вы что, сопляки, — может, там матери ваши, сестры ваши! Может, жена моя там! Женщины, есть кто из Лозовой? Вари Орловой там нету? Потерпите, родные, вернемся — все наладится!

— По вагона-ам! — звучит команда встречному эшелону, и состав трогается.

И последнее — на расстань — несется:

— Сохраняйте себя, сестры!

Эшелон набирает скорость, в окнах мелькает, мелькает, мелькает — перестает мелькать... Все молчат оглушенно, потерянно, и тогда сочувственно вздыхают тормоза, и колеса начинают монотонно уговаривать: потерпи, потерпи, потерпи...

И рука нащупывает зеленый карандашик — как спасение, как спасение, как спасение...

Разбегаются по дощатой стенке кривые зеленые строчки — трудно, с кровью, как чахоточная мокрота, облегчая грудь, отходит запоздалый ответ обидчикам:

«Раскинулись степи широко,
Земля под вагоном дрожит...
Подруги, мы едем далеко —
Наш путь до Казани лежит...
Решетки на окнах вагона,
И плотно задрасна дверь —
И нас на вокзальных перронах
Никто не встречает теперь...

Не встречают, нет. Да и загоняют больше на запасные, подальше, как прокаженных...

...А люди, что там, на свободе,
С презрением скажут о вас,
Что вы изменили народу
В тяжелый, решительный час...

Как они вас казнили... Но ничего, ты выдержишь, должна выдержать, надо все выдержать и не опускать глаз!

...Пусть те, что глядят с укоризной,
Упреком не жгут нам сердца:
Не мы предавали Отчизну —
Мы были верны до конца!
Пусть нас без суда расстреляют,
Пусть близок конец наших дней —
Мы верим, что Родина нас оправдает
Как верных своих дочерей!...



Предпоследняя строчка пусть так и будет — на три слога длиннее. Это как заключительный аккорд. И что бы с тобой ни случилось, кто-то прочтет эти кровавые строки на стене теплушки — прочтет и запомнит...

Ах, Господи, ну кто же их прочтет! Каких пассажиров возят в вагонах с решетками на окнах и дыркой в полу вместо параша?! Ну и ладно, пусть хоть такие прочтут. Прочтут и споют — может, легче станет?

— І що воно там малює? — любопытствует Корнеевна.

Сейчас, сейчас узнаете! Вот только собраться с духом... И Тася запекает ломиком от напряжения голосом:

«Раскинулись степи широко,
Земля под вагоном дрожит...»

Зинаида Борисовна обнимает тебя за плечи, негромко подхватывает рефрен. А Даша, отвернувшись, молчит.

Нелегкое испытание — безделье. Нелегкое испытание — неподвижность; даже ноги, гудящие от дорог, устали отдыхать и маются тоскливыми судорогами. Маруся, которая сначала все ждала чего-то, на каждой остановке охорашивалась, прислушиваясь к шагам и голосам, сникла, потемнела лицом — не ждет... Отвернувшись к стенке, делает вид, что спит.

Зинаида Борисовна что-то подшивает, ногтем разглаживает шов, подбадривая себя вполголоса. Две женщины «ищутся» — одна распустила волосы и, подстелив платок, положила голову другой на колени. Та перебирает темные пряди и неумоимо щелкает ногтями и гребешком — Господи, неужели там столько вшей?!

— Нет, — успокаивает охотница, — если нету, не попадаются, береешь волосочек, вот так сгинаешь, и нхотиком, нхотиком! Он и щелкает — прям'как воша!

От этого объяснения у Таси начинает зудеть все тело, но обе женщины явно довольны.

— Ох і харашо ськає! — с завистью говорит Корнеевна...

В другом углу пышная Виктория Барышева вдохновенно повествует:

— Ой, вы знаете, что в «наполеоне» самое вкусное? Вот когда уже коржи намажешь кремом, края обрежешь, чтобы форму придать, — так вот эти обрезочки! Обожаю! Я прямо у мамы из-под рук выхватывала. А то еще «снежки» — знаете? Желтки растереть хорошенько, с сахаром, конечно, в теплом молочке распустить и на маленьком огоньке до кипения, а тем временем белки взбить... Пальчики оближешь!

Тасю эти кондитерские страсти почему-то не волнуют. Вот если представить себе, как хлеб пекут — на капустных листьях! — как пахнет кислое ржаное тесто, как каждую хлебину оглаживают по макушечке мокрой рукой, чтобы блеснула потом твердая коричневая корочка...

— Сволочь, — ни с того ни с сего вдруг произносит Маруся, — а говорил: поедешь со мной в штабном вагоне, до Казани — и обратно...



Наверное, не надо откликаться — просто ей надо было это выговорить, хоть кому-нибудь, хоть в воздух... Может, легче теперь?.. Последний свет иссякает, и уже не видно, кто говорит, а голоса еще не все знакомы. Гаснут разговоры — и начинается песня...

Осторожно — как воду ногой — пробует настроение Елизавета Андреевна: — «Місяць на небі, зіроньки сяють...»

Но голоса откликаются вяло, и песня никнет, не добравшись до конца... Бог с ней, с песней...

Так они и катились, эти дни на колесах — сколько их было? Не вспомнить... Катились однообразно, без событий. Главное событие — раздача хлеба: с довеском попадетсЯ или без, горбушка или серединка? Главное огорчение — если пайка досталась без довеска, но с дыркой от щепочки: это значит, довесок потерялся или перехватил кто-то. Но если даже так — лучше молчи, не выражай неудовольствия. Ни к чему хорошему это не приведет. Второе важное дело — это когда воду принесут. Тут вот еще какая сложность: кружки нет, а казенная расхват. Хорошо еще, что у соседок есть, но ведь им самим и умыться и попить надо — а пить надо медленно, с хлебом, иначе не напьешься. Пока до тебя очередь дойдет, чего доброго и воду расхватают, расхлюпают... А самое неприятное — это опорожниться. Тут уж терпи до вечера, пока стемнеет — стыдно ведь на глаза у всех...

Днем, пока свет — какой-никакой — находятся мелкие занятия: кто «съкается», кто бдительно осматривает швы одежды; к Зинаиде Борисовне и Елизавете Андреевне, счастливым обладательницам иголок, целая очередь — уж чего-чего, а дыр тут не занимать. А Тасю спасает карандашик: всю стенку около себя исписала. Одна беда — об доски грифель быстро списывается. Спишется совсем — что тогда будет?

На полу около двери — странная женщина. Все в ней как-то не так: лишние движения, бессмысленные слова, испуганный взгляд... То бормочет что-то себе под нос, то жалобно и тонко поскуливает, дергая головой, а то нырнет рукой под рубашку, вытащит что-то — и в рот. Поймав Тасин недоуменный взгляд, улыбнулась виновато:

— Та то я воші — вони солоненькі...

Голова ее коротко и неровно острижена, волосы торчат, как жнивье, серыми и седыми пучками, а глаза — ярко-синие на бледном, раз и навсегда испуганном лице.

Что-то в ней, маленькой, жалкой, гипнотически притягивает Тасино внимание, хотя временами кажется, что она потому и маленькая такая, что сжалась из всех сил, чтобы стать незаметной. Даже сидя к ней спиной, Тася вдруг чувствует настоятельную потребность обернуться. Обернется — и ни-че-го: та лежит лицом к стене.

А Елизавета Андреевна со вкусом рассказывает о своей счастливой довоенной жизни: сама — агроном, пела в самодеятельности, любящий муж, двое детей. Сынишка — отличник, на баяне учился... Дочечка, даром что совсем кроха еще, уже бабушке помогать кидается, а уж поет — прямо канареечка в доме...

— Дєточкї мої, дєточкї мої... мої голуб'ятка!..

Нет, это был не крик; вроде бы совсем негромко, но так пронзительно, что все разом обернулись, все смолкли — такая боль хлынула из синих распахнутых глаз.

— Двоє їх у мене було, двійко. Пішла міняти, домоворилася із сусідкою, що догляне, нагодує — останні харчі їй для діточок лишила... А як верталася, т а к уже поспішала, т а к серце боліло — мало не бігла. Та коли вже під Харковом, — і треба ж такого лиха! — наскочили ми на поліцаїв: де, кажуть, перепустка? А яка там в біса перепустка — чи її хто брав! Так собі пішла: ходили ж баби — і нічого? Ну, хай, кажуть, кому нічого, а тобі — чого!.. Забрали наші оклуночки, замкнули нас у якійсь коморі. Я колотюся, прошу: людоньки, схаменіться, у мене ж там діти! Та куди там! Днів зо три продержали, а тоді до Харкова повезли. А вже у Харкові — там набралось нас хто зна й скільки. Ото позаганяли у вагони — і гайда! Аж у саму Германію, кажуть. А я та — Боже ж мій! — там же ж діточки самі! І от двоє дівчат — ну там такі бойкі — одірвали дві дошки, — то вже поночі, — і пострибали, і я ж за ними. Побилися — страх! Ледь живі та теплі! Переховувалися, бо ж документів чортма, паспорти у них ще з самого початку одібрали... Їли — де що вкрадеш або подадуть Христа ради... Прийшла додому — пусто. Меншеньке, кажуть, померло, а більшеньке — те, спасибі, кума взяла, пожаліла... Зробили мені тоді документи хороші люди — хороші документи, казали. І недорого взяли — та й що там з мене було взяти!..

І скільки я вдома побула — три дні з походом! Пішла на базар і попала в облогу. Німець там був, ото подивився мої документи — чи прочитав, чи не прочитав, а відпустив. А поліцай попався знайомий — сусідська дівчина з ним гуляла — забрав ті документи, порвав, ще й ногами потоптав. То ж схопили мене, заплітали у машину, одвезли до тюрми, на Сумську. Ой же били мене там, так били! Там із дїтьми жінки були, із манюсінькими: воно ж, біднєське, голодне — заплаче, а ті гади, поліцаї, двері відчинять — і просто на плач стріляють, в кого попаде! Так матері калом дітей годували: зав'яже у платочок і дитині смоктати дає, щоб не плакало... І такі на нас воші напали, Боже ж мій! А тоді перевезли на Чернишевську, до другої тюрми, а там вже зовсім захлявших повно — од них іще хужі воші!..

Баланду через день і воду через день давали. А вже били!.. Ото виведуть з камери — в їх там така кімната була пуста — стануть четверо і кидають тебе один до одного, а то на батарею... Батарей гострі, як вдарить — кров'ю обіллєшся... А то в парашу вмочають... Не, не німці — свої ж, поліцаї!..

Все молчат потрясено, і хочеться прикрикнути на колеса — чтобы стихли, не стучали... А жєнщина все говорит, ни к кому не обращаясь, ни на ком не останавливая синий мерцающий взгляд:

— Із сусідніх камер стукали, передавали щось — та хто ж його знає, що воно вистукує. Ото просиділа я там — бозна скільки, аж коли раз приходять і — шнель, шнель! — усіх виганяють. Хто вже йти не міг, тих за руки, за ноги — і в машину. Велика така машина, під брезентом... Вивезли, не так уже й довго їхали. Приїхали, відкрили брезент: ліс, галявина — і яма, здоровенна така... Почали людей з машини виштовхувати, як сиділи — по п'ятеро. Одежу геть — і в яму,

долілиць, та з автомата, у потилицю — німець там один... А тоді поліцай — такий чепурний, красивий — з пістолета, хто ворушиться... Я й так була чуть жива та тепла, а вже як до нашої п'ятірки діло дійшло, то чи зомліла, чи так памороки зайшлися — не знаю. Так мене, мабуть, і вкинули до ями, як неживу... А тоді землею закидали й поїхали. Закопувати, бач, не стали, бо ще яма не повна була, а так, притрусили... А вночі дві бабусі — їхня там на узліссі хата була — почули, що ніби-то стогне хтось, і розкопали мене. Принесли до себе, доглядали, переходували, поки не оклигала. А вже коли наші прийшли, то пішла я додому, а вдома нікого. Пішла до куми — і там нікого й нічого. Усе розбито...

Смолкнув, она обводить теплушку смутним, растерянным взглядом, и снова отворачивается к стене.

— Долілиць, — запоздало недоумевает Корнеевна. — Як начебто не все одно, як воно там лежатиме...

...Сколько вагонов в этом составе? Сколько таких теплушек — с решетками на окнах, с дырками в полу вместо парашаи? Ведь пока стягивались отовсюду этапы, эти вагоны уже были? Заранее оборудованные — уже были? Арестованных еще не было — а они уже были? Или, может быть, у теплушек окна вообще всегда забраны решетками — ты просто внимания не обращала? Вон у того эшелона, что вез пополнение к фронту, — ты не заметила, решетки были? Не было там решеток! А сколько таких вот эшелонов катится сейчас на восток? И все они уже были? И решетки, и дырки-парашаи — были?

...Прибыли... Прибыли? Вокзала никакого не видно, Казань прячет от вас свое лицо. Пакгаузы, пути, глухие заборы... Через рельсы и шпалы, оступаясь на ослабевших ногах, подгоняемые окриками конвойных — куда? Справа от дороги огромная воронка. Сознание услужливо подсказывает: фугас, с полтонны, пожарный... Какой фугас, ты что? Не было в Казани бомбежек!..

Вот тут ты впервые слышишь звук этапа. Это не чеканный шаг колонны, а странный, шаркающий, всхлипывающий шум. Кажется, этот шум серого цвета — если у звука есть цвет...

И первый настоящий обыск, во всей своей оскорбительной непристойности. Три женщины с резкими, грубыми голосами заставляют тебя раздеться донага. Одна ловко потрошит твой вещмешок, вытряхивая из него все до последней соринки, другая осматривает твою одежду, третья — за столом — деловито и спокойно все записывает. Вещи, бесцеремонно выставленные напоказ, кажутся жалкими, отчужденными, утрачивают свою тайную, интимную связь с тобой. Покончив с вещами, принимаются за тебя: заглядывают в рот, уши, растрепывают твои волосы, потом заставляют наклониться и развести руками ягодицы. Потом велит присесть — еще и еще:

— Вот так, в присядочку!..

Унижение окатывает тебя душной, горячей волной — как еще можно унижить человека? Стыскиваешь зубы — так, что кажется они вот-вот выкрошатся; челюсть



ти сводит судорогой боли. Слава Богу, это уже все — тебе позволяют одеться. Отбирают ленту, которая была вплетена в косу, отбирают наборный — серебро с чернью — кавказский пояс, подарок отца. Все, что отбирают, вроде бы записывают:

— При освобождении получите...

У Матильды отбирают обручальное кольцо и атласный пояс с резинками, она закипает, булькая негодованием и малопонятными словами, трясет возмущенно своими удивительными волосами, стараясь стряхнуть с них чужие руки, но весь ее беспомощный протест обламывается, сникает, когда чужая воля сгибает ее тщедушное тело в постыдную, непристойную позу. И плачет сварливая Матильда тихими старческими слезами, горькими слезами бессилия...

Нельзя на это смотреть — смотреть, как свисают тряпочками пустые груди, кормившие детей, вялые животы, этих детей вынашивавшие, — не надо, нельзя, не надо об этом вспоминать!..

Ну, вот и новоселье. Невозможно понять, как сумели раскроить торжественно возвышенное внутреннее пространство церкви на гулкие этажи, прорезанные лестницами, на тесные камеры и уборные, как вытеснили терпкий запах ладана едкой вонью хлорки и параш, как смогли здание, предназначенное для возвышения души, приспособить для умерщвления ее в постоянно унижаемом теле. Непостижимо — как и зачем?

...Справа в два яруса нары, слева проход, прямо — окно, забранное решеткой и деревянным коробом; под окном — батарея отопления. Слева от двери — бадейка: это параша. Справа, на табурете, — бадейка поменьше: вода. Кто попусту, располагаются на нарах, нерасторопные и невезучие — на полу. Ясное дело — Тася среди них. Правда, оказывается, степени невезучести тоже бывают разные. Тасе, например, относительно повезло: она под нарами, а та маленькая женщина с синими глазами — на полу около параша. Все относительно в этом мире...

Возбужденно копошатся, умишляются, расстилают на нарах одежонку. Торбы — в головах... Кудрявенькая Нюрка Цыганкова мечтательно произносит:

— А я когда замуж выходила, мне маманя перину и девять подушек дали.

Хохот, неудержимый, истерический хохот обвалом накатывает на камеру. Хочет, утирая слезы, отмахиваясь руками, Елизавета Андреевна, взвизгивает в изнеможении бело-розовая Виктория, постанывает, мотая головой, Зина... Тасе уже не смешно, но смех все равно распирает ее, сотрясает все тело, переходя в икоту, и она ничего не может с ним поделать: «Перину...»

Дежурный надзиратель заглядывает в глазок, распахивает кормушку.

— Вы что, бабы, умом тронулись? С чего это такое веселье?

— Да уж лучше смеяться, чем плакать, — откликается Зинаида Борисовна.

— Не положено, — строго, но не сразу резонно возражает он. И смех гаснет, оставив за собой странную пустоту...

Ничего, ничего, нары, параша — все это можно пережить. Главное — что конец скитаниям, что здесь уже начнут разбираться во всем и со всеми. Плохо

только, что далеко от дома — никто тебя тут не знает. И обратно нелегко будет добираться. Да нет, это все пустяки: вон сколько эшелонов идет к фронту — неужто не подберут?

Конечно, с такой уймой людей трудно сразу разобраться. Какой длинный эшелон был — целая змея! Неужели у нас вправду столько предателей? Есть, конечно, и такие, как ты — которые по ошибке, — но ведь это, наверное, единицы. А с другой стороны, посмотреть на Зину — какая она предательница? А Зинаида Борисовна? Или Жигалова? Как она про детей своих рассказывает! А поет! Вот Матильда — та злющая. Говорят, она немецкая шпионка. Очень может быть — вместе с мужем. Или вон та учительница из Молдавии — очень странная! Говорит, молдаванка — а сама рыжая, голубоглазая и нос через губу. И молчит все время. Хотя вообще-то их в камере двадцать пять, а разговорчивых мало. Может, на допросах разговорятся? Скорее бы только они начались, эти допросы, а то ведь за время этапа опять пухнуть начала.

Один раз, правда, вызвали — так, вроде анкету заполняли: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, национальность. Соцпроисхождение, родители — кто такие, чем занимались. Нет ли родственников за границей? Была ли в плену, на оккупированной территории? Чем занималась? Была ли под судом и следствием? Только что не спросили, служила ли в царской армии, а так ни дать ни взять листок по учету кадров. А потом — бац! — «За что арестовали?» Кто у кого должен спрашивать? И еще: «При каких обстоятельствах?»

Вот и все. И больше ни одного допроса, ничего. День за днем — подъем, оправка, уборка камеры, пайка хлеба с довеском, приколотым сосновой палочкой, пшенная баланда с воблой, с редкими — кому повезет — картофелинами нечищенными. И тоска...

Бесцветные, безвкусные разговоры, свары — кому дневалище (каждой охота) ругня из-за параша... Поносников все больше, а параша маленькая, выносить не дают — только в установленное время! Мужики-надзиратели — те еще, бывает сжались, а надзирательницы — просто беда! Откроет на стук кормушку, заглянет — и в крик:

— Опять парашу? Пообжирались, пообсерались, засранки! Кормят тут вас нашу голову! Ничего, перебьетесь до вечера!

А понос не ждет, не терпит, несчастные поносницы рвутся к параше, стучат кормушку, умоляют, а параша полнится, переливается через край, лежащие на полу подплывают вонючей лужей, бранятся, плачут, осатанело клянут друг друга; иной раз доходит до драки, а общая их мучительница наблюдает в глазок и смеется от удовольствия. Потом, натешившись, открывает дверь:

— Во, скоты! Сраму-то, сраму! Бабы, а всю камеру обосрали! Которая тут скотина, што на полу нагадила? А ну, пол мыть!

И кто-то, давясь слезами, подбирает тряпкой рыжую лужу, моет пол. Парашу наконец, выносят — четырех-пятилитровую бадейку на двадцать пять человек — приносят обмытую, и те, кому удалось дотерпеть, бросаются к ней, пока пустые, счастливые, что удалось избежать издевательства.

— Эх, моей бы свекрухе тут служить! Вот натешила бы душу! — мрачно радуется с верхних нар.



А Тася, закрыв руками глаза, сжав виски, мотает головой в беззвучной, безысходной тоске: Господи, за что?

А когда все стихает, выползает из-под нар и меряет, меряет камеру мелкими, экономными шагами, пока не грянет окрик:

— Да не мельтеши ты, ради Господа нашего Иисуса Христа! В глазах рябит! Уймите ее кто-нибудь!

— Сядь, посиди со мной, — тянет за руку Зинаида Борисовна, — почитай лучше стихи — есть новые?

Какие тут стихи!

Но Тася все-таки читает — вы знаете, что она читает? *«Как хороши, как свежи были розы!..»*

— Во малахольная, — говорит Анна Драчова.

Вечереет...

...Непонятно, почему так жарко — над котельной, что ли, камера? Батарея чуть живая, а стена горячая...

Иногда в стенку постукивают. Вообще-то об этом все читали: тюремная азбука, которой переговаривались между собой узники самодержавия — Кибальчич, Вера Фигнер и другие. Даже схема помнится — квадрат, разбитый на клеточки. А вот как там буквы расположены, что по вертикали и что по горизонтали — неизвестно. Ну а тут, похоже, никакой системы — такие же грамотеи стучат. Чаще всего возле окна, у самого пола.

И вдруг однажды кто-то как ахнет: мышь! Что-то у основания батареи шевельнулось и откатилось — комочек штукатурки. А в дырочке — скатанная трубочкой бумажка!

Зинаида Борисовна мигом — к глазку, заслонить, а Маруся Купина — за бумажкой, и сразу обратно, на нары — там уже схорониться нетрудно. Вот оно: «Вы кто? Политические? Откуда? Мы — разные, политических нет. Дайте покурить. Дырку заткните, чтобы не засекли».

— Таська, дай карандаш! — Марусе не терпится.

Удалось-таки его тогда спрятать, зелененький! Вот он, голубчик, в бурках, между слоями сукна. Только совсем уже махонький — исписался в вагоне.

— Ну так — что напишем?

— «Мы из Украины, все по пятьдесят восьмой. Курева нет. Дайте бумаги и карандаш, если есть». Все? Больше не поместится. Станьте кто-нибудь перед глазком, пока я передам.

Слава Богу, порядок. Все шито-крыто. Значит, рядом уголовницы — наверное, местные. Это хорошо, у них с волей связь должна быть. А что уголовницы, так это же не обязательно бандитки. По указу — за опоздание, за прогул, за буханку хлеба — мало ли за что могут посадить!..

А потом настает какой-то день, когда кормушка распаивается и дежурный надзиратель объявляет: всем с вещами!

Увозят? Нет, переводят. Огромное, непонятное после тесной камеры помещение без нар — наверное, оно под самым куполом церкви, и его еще не успели поделить на клетушки-камеры.



Сначала, ошалеv от свободного пространства, женщины расползаются по полу, подальше друг от друга. Вот тут уже не нужно поворачиваться по команде: можно лечь как угодно — раскинуть руки, свернуться калачиком — хоть попереk ложись! Благодать!

Но попозже все, видимо, устают от этого простора, сползаются маленькими группками — по две, по три — и на том успокаиваются. Тася устраивается между Зиной и Зинаидой Борисовной. Чуть поодаль, особняком — Елизавета Андреевна... Очень странно все-таки — зачем их сюда перевели? Почему не оставили в двадцатой? Новый этап прибыл? Или ремонт какой-то? Эх, жалко, если дырку в стене заделают!

И снова начинается в душе брожение, поднимается мутными всплесками тревога. А тут еще тело начинает гореть адским зудом, и места себе не находишь от этого жжения. Клопы! Они и в камере грызли, но тут... Крошечные, с булавоочную головку, с маковое зернышко, рубиновые, полупрозрачные, они шустро бегут отовсюду и набрасываются на пришельцев как после долгого поста. Тася размазывает их по доскам пола, давит их на себе, одичало оглядывается по сторонам. И как это еще некоторые спят! Хотя бы кончилась эта безумная ночь, хотя бы что-нибудь случилось, чтобы прекратить этот ужас — хоть пожар!.. Голова распухает от боли; кажется, весь пол вокруг тебя шевелится. Широкая пальцами, расписывая доски остропахнувшими кровавыми пятнами, Тася бессмысленно считает: десять, двенадцать, шестнадцать... двадцать семь... шестьдесят три... Лампы под потолком чернеют, глаза застилает буро-красная мгла...

И вот последний подъем в казанской тюрьме. Мятые после бессонной ночи лица. Последняя баланда — мутная соленая юшка с редкими крапинками пшена. Раздатчики — эти все знают! — шепнули, что переводят... Хлеб в тряпицу про запас — что там еще будет? И наконец — двери настежь, и гулкое: все с вещами! Все с вещами!

Снова этап? Снова дорога?

И шаркает по улицам Казани нелепая колонна: ватники, пальто, бурки, сапоги; а кругом — весна, и молодая зелень, и девушки в светлых платьях. И кажется, что даже если бы не было охраны, они все равно не могли бы смешаться — эта колонна и ее берега. Она течет вниз по улице, как медленная темная река, и как река, впадает в Волгу. Люди жадно вдыхают запах воды и мокрого дерева, свай, запах солярки и острый запах пеньки, исходящий от канатов, — забытые запахи воли... Но вот уже скрипят мостки, покачиваются сходни: истончившаяся ручейка, колонна постепенно исчезает в чреве огромной баржи, и терпкий запах свободы сменяется затхлым воздухом трюма. И снова мерещится Тасе тот самый детский сон: подземелье и толпа, безликая и зловещая...

Староста, как квочка, пересчитывает свой народ, и снова двадцатая камера сбивается вместе, словно вырастают вокруг невидимые стены.

— Послушай, — толкает Тасю Зина, — зачем была вся эта секретность, зачем ставить мордой к стенке, когда ведут по коридору, если по улице — колонной? Здесь все в куче? Ну какой в этом смысл — ты можешь сказать?

Нашла, о чем спрашивать!



Маруся Купина, необычно взволнованная, таинственно наклоняется к Тасино-му уху:

— Тут они, слышишь? Все трое — не я буду! Арестантики!

— Кто?

— Конвоиры наши волчанские!

— Фантастика! Обозналась, наверное?

— Исключено, дорогая. У Маруси Купиной глаз — алмаз!

— Так может, сопровождают кого?

— В общей куче? Не смеши!

Воистину, как говорится, пути Господни неисповедимы! Вчера — конвоиры, сегодня — арестанты. Ну, а если подумать, так чем они лучше тебя?

Маруся успокаивается, деловито «кублится» на новом месте и наконец, обустроившись, снова оборачивается к Тасе:

— Ну, это мы разведаем, будьте покойнички!

Это у нее любимое выражение, а еще — «будьте уверочки!» Похоже, она чем-то довольна.

...Сколько лет жила у вас в семье мечта о путешествиях! Какие книги прочитаны — «Земля и люди» Элизе Реклю, «Дерсу Узала», весь Жюль Верн, «Колхида» и «Кара-Богаз», путевые заметки знаменитых путешественников... Восхитительный Сетон Томпсон и «Жизнь животных» Брэма, «Записки фенолога», определители растений и птиц... Даже атлас звездного неба был решительно необходим для будущих странствий...

Ну да, вы обе с сестрой были образованные девочки: вы знали, как находить дорогу по солнцу и по звездам, по муравейникам и по мху на стволах деревьев, как добывать огонь с помощью увеличительного стекла и разводить костер в сырую погоду. Ни ты, ни она ни за что не спутали бы мангустов с мангустанами — вы обладали уймой полезных знаний, необходимых для победного шествия по Дороге Жизни...

И вот твоё первое путешествие. По Великой Реке. Не хотите ли полюбоваться на розовый лотос, на розовых фламинго в астраханских плавнях? Ах, какие розовые горизонты у нас впереди!..

Перестань, перестань, перестань!

Фламинго отменяются. Буксир тащит баржу куда-то вверх по течению. Маруся уже успела побывать на палубе. Оказывается, можно попроситься — за нуждой или воды принести. Там бак большой — кипяченая вода.

— Елизавета Андреевна, дайте кружечку — я воды принесу.

Какое счастье — небо! Особенно, когда его так много. И берег — даже самый унылый. И рыжая вода за бортом. И ветер...

«...Волнуется рябь золотая,

Мы едем — не знаю куда,

И, белою пеной вскипая,

Журчит...



Нет, не так:

Пост за бортами вода...
Колышется в светлом просторе
Холмов прихотливый излом,
И мне пережитое горе
Беспомощным кажется злом:
Оно отступает, как берег, —
И крепнет надежда в груди,
И хочется верить и верить,
Что воля нас ждет впереди...

Или нет — пусть лучше:

Что счастье нас ждет впереди!..»

— Вот уже юродивая, прости Господи! Ты оглянись, полюбуйся, какое счастье тебя ждет. Всех нас.

Тася оборачивается на чеканный, недобрый голос — это рыжая молдаванка кинжально щурит бирюзовые глаза:

— Не в ту, не в ту сторону смотришь!

Тася поворачивается в другую: тяжело, не в лад ступая, трое доходяг тащат на носилках что-то длинное, накрытое грязной мешковиной.

— Зачем вы так, Вероника, — сердито говорит Зинаида Борисовна и, защищая, обнимает Тасю за плечи. — Вам что, от этого легче?

Тася отводит взгляд. Она смотрит перед собой, внутрь себя, все очертания в поле зрения расплываются, они не в фокусе, не в фокусе, что-то другое отвлекает внимание, отключает внимание, сгущается туманностью... Нет, еще не мысль...

— А? — переспрашивает она.

Нет, ничего...

Кто-то за спиной авторитетно поясняет:

— Жмуриков выносят — значит, к пристани подходим...

— Маруся, представляешь — эту, расстрелянную, Таней зовут!

— Ну и что?

— Да нет, так просто... Имя такое... веселое... девчоночье...

— Дурью ты маешься, Анастасия, как я погляжу. Какая разница, кого как зовут — что от этого меняется?

Ну как ты ей объяснишь, что Таня должна быть румяная, круглолицая и брови взлетят?.. Татьяна Ларина, она, конечно, другая была, но ведь она из прошлого века...

— Не знаешь, за что ее? Ее же немцы расстреливали?..

— Не моя забота. И тебе советую: знай свое дело и не суй нос в чужое.

И все-таки — как же так? Столько ужаса перенесла — и опять из тюрьмы в тюрьму? Такая — уже нездешняя — и вдруг Таня?..



...Петрификаты... В третьем классе они проходили диспансеризацию, и после рентгена ей написали: «Корни легкого фиброзно уплотнены; справа на верхушке петрификаты и единичные очаги различной плотности...» Папа расстроился; школьная докторша Фрида Борисовна, ласковая и красивая, сказала, что Тасе дают путевку в детский туберкулезный санаторий «Маяк», где Тася будет учиться и лечиться у самого моря. И еще она сказала, что петрификаты — это хорошо, это обызвествления на месте бывших очагов — и книжная девочка Тася мигом представила, что палочки Коха одеты, как в футлярчик, в известковые рубашечки и, словно кораллы, погибая, оставляют на месте своих скоплений камушки-петрификаты.

В санаторий «Маяк» на берегу моря Тася тогда не поехала. Отпросилась, отплакалась у папы — страшно было ехать одной — а почему это вдруг вспомнилось? Ах да — известковые рубашечки... Все они здесь в известковых рубашечках, в футлярах, как раки-отшельники. Затаились в скорлупках, а что внутри? Страх? Осторожность? Боль? Не стучись в чужую скорлупку и в свою никого не пускай...

... И были еще пристани, и опять выносили накрытые дерюгой носилки...

Никто не кричал «земля!», когда плавание закончилось. Буксир зачихал и отошел куда-то в сторону, оставив у причала неповоротливый ковчег; засуетились, покрикивая, конвойные, потянулась на берег темная цепочка людей. Мутная, усталая вода нехотя похлупывала о сваи. Ноги ступали тяжело и неверно, с трудом отрываясь от досок причала. Колонна подбиралась, отталкиваясь от пристани, вползая на берег; люди вглядывались друг в друга, в помятые, вялые лица, вертели головами, напрягая одеревеневшие шеи.

— Чистополь, — обронила Зинаида Борисовна. — Помнишь, у Горького: «Город на Каме, где — не знаем сами, не достать руками, не дойти ногами...» Вот такая у нас... география.

Значит, на Каме. Значит, за Волгой... Когда-то на уроке всеми любимая Зоя Николаевна спросила забубенного двоечника Женьку Дробота, где находится река Кама. Не напрягаясь, Женька безмятежно ответил: «Это... вверх, направо!» Так и стало в классе крылатым словечком «вверх, направо». Значит, вверх, направо...

По обе стороны улицы коренастые, приземистые дома, бревенчатые, тесовые, реже — каменные; возле домов громоздились потрясающие воображение штабеля дров — гигантские комли темных, неохватных стволов, мощные, ветвистые корневища... Каким великаном надо быть, чтобы корчевать такие деревья!

— Э, да что там, — откликается Зинаида Борисовна. — Народы выкорчевывают — что уж там деревья...

Это она о фашистах?

— Разговорчики! — беззлобно твякает конвойный.

— Пилить такие дрова — вот где мука, — устало говорит Маруся. — Пилу заедает. А колоть — без клиньев ни за что...

Тася оглядывается на нее с уважением: и все-то она знает!

А прохожие тускло, без любопытства встречают и провожают их глазами...

Чистопольская тюрьма — не чета казанской. Эта, наверное, старинная — профессиональная, так сказать, тюрьма. Высокий забор, аккуратно прибранная территория, даже цветы перед белым домиком — управление тюрьмы или как там оно называется? Контора? Администрация?

И этап здесь принимают серьезней. Баня. Одежду забирают в калилку. В предбаннике — осмотр. Осматривают женщины в белых халатах, строгие, немногословные, неприветливые, но и не грубые. И на том спасибо.

Стеснясь, как в детстве, своей и чужой наготы, Тася жметя в углу, ожидая своей очереди, и вдруг открывается одна из дверей, впуская пар и волглый запах бани, и входит коренастый густо-румяный человек в клеенчатом фартуке поверх синего халата. В кармане фартука никелированным металлом сияет машинка для стрижки «под ноль» и что-то еще, кажется, бритва. И вот уже с воем склоняет голову Виктория Барышева, и густые пшеничные волосы, высоко, по немецкой моде, поднятые надо лбом, ровно разделяет посередине темноватая дорожка короткой щетинки. Машинка шустро чикает, прокладывая все новые и новые дорожки, белокурые локоны оползают по бело-розовому, еще не утратившему здоровой пышности телу, а Тася инстинктивно хватается за свои косички — пушистые, недлинные, нежно свернувшиеся на концах ласковыми колечками — как будто можно их защитить от этого краснолицего, коротко-кудрявого палача! Так неожиданно выступают, крупнеют у Виктории правильные, уже не женские черты лица, таким аккуратным, безупречно круглым оказывается ее голый череп — Тася, как замороженная, следит за этими превращениями, стараясь не думать, что сейчас произойдет с ней самой.

Парикмахер оборачивается к женщинам в халатах:

— Брить?

Они кивают, и Тасю обжигает желание умереть — вот сейчас, немедленно, пока не коснулся ее этот ужас, этот позор! Старательно, сосредоточенно, добросовестно — Господи, при чем тут добро и совесть? — выбривает парикмахер все волосы на пышном теле Виктории, все сокровенные его уголки...

Если бы Тасина фамилия начиналась на какую-нибудь дальнюю букву — на Ю или хотя бы на Щ, — было бы еще время, что-то могло бы случиться — бывают же чудеса на свете! Но «Гарднер» — это так близко! Еще чьи-то темные волосы смешиваются на полу с белокурыми прядями; на короткое время Тасю окутывает тупая глухота, и вот неожиданно четко падает:

— Гарднер Анастасия!

Тася подходит как во сне, переступая босыми ногами по кафельному полу, как во сне исполняет приказания и отвечает на вопросы. Все-все, все силы, все мысли сосредоточены на одном: умереть! Пусть остановится сердце! Она читала, она знает, какой неизмеримой мощью обладает иногда человеческая воля; она приказывает себе: умри! — как когда-то, в глупой детской игре, приказывали друг другу: «Замри!» Умри — и больше не будет унижений, бесчестия — за этой чертой кончается все!..

— Ну что, — говорит одна, — может, оставить?

— Оставим, — устало кивает другая — и, уже обращаясь к Тасе: — идите.

— Стричь? — спрашивает краснолицый.



— Не надо.

Парикмахер удовлетворенно кивает и протягивает Тасе крохотный кусочек вонючего мыла: иди, мойся!

А ты просила смерти, дуреха! Тася переступает деревянный порог, берет свободную шайку и погружается в блаженство. В густом горячем тумане снуют вокруг нее чьи-то обнаженные тела, звучат голоса, но Тася сейчас одна — она одна со своей неслыханной удачей. Размякшая от благодарности и горячей воды, она даже не пугается, когда кто-то трогает ее за плечо: это тот же краснолицый в клеенчатом фартуке поверх синего халата. Он сует Тасе еще кусочек мыла и плоскую с маслянистой, остро пахнущей жидкостью:

— На, голову намажь. Да вычеси потом хорошенько, когда смоешь.

И отходя говорит:

— Очень ты красивая!..

Тася чувствует, что вот-вот заплачет, так переполняет ее что-то удивительное, прекрасное; она не знает, как это назвать, и поэтому даже не говорит «спасибо» ему вдобавок.

Странно, но в голосе этого уголовника не слышит она ни стыдной жадности того, в белом полушубке, ни сытой наглости комбата Куруленко — только грустное удивление, больше ничего...

Драгоценный керосин по-братски разделен между неостриженными, и камера благоухает, как склад нефтепродуктов. Правда, Виктория утверждает еще, что одежда после калилки пахнет печеньем, но если даже это и так, керосин все перебивает. Все неостриженные пребывают в приподнятом настроении. Вот уж, действительно, много ли человеку надо? Только Анна Драчова черным-черна, хоть и не острижена.

Всезнающая Маруся сообщает Тасе, что Анна кому-то хвалилась, будто есть у нее такая бумага, по которой ее должны сразу же освободить, только она до поры ее не предъявляет. Может, предъявила, да не вышло? И что за бумага?

Новоселье... Будет ли оно последним или это очередной перевалочный пункт? Все возбуждены — беспричинно, бессмысленно суетятся, ерзают, перекладывают свои жалкие пожитки, словно делают важное, нужное дело; вглядываются друг в друга, как будто приглядываются к новым соседям. Люди, промолчавшие рядом столько дней, вдруг заговаривают о себе, о своих домашних, словно знакомятся и хотят произвести хорошее впечатление — что это с ними? Будь бдительна, Тася! Бдительность — обязательная черта морального облика советского человека. Советский человек должен беспощадно изобличать врагов — это ты знаешь с пеленок. Но вот как их распознавать, врагов и не врагов, — это тебе известно? Добро бы так: все плохие люди — враги, все не враги — хорошие. Так ведь ты всю свою куцую жизнь прожила вроде бы среди не врагов, а были среди них всякие: и хорошие, и плохие, и даже очень плохие, как во всяком большом общении... Может, и среди врагов так? Дорассуждалась!.. Ну, погоди: вот вас здесь двадцать пять — и все по пятьдесят восьмой... Измена Родине. Пункты, допустим, разные, но что уж там пункты, раз все равно измена! Так враги или не враги?

А ты помнишь, как они плакали тогда, в эшелоне, когда пела Жигалова?



Раньше ты не понимала у Блока: «...молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели...» Ты просто не знала, как это близко... А тут Елизавета Андреевна запела знакомое:

— ... Я сьогодні щось дуже сумую...

Голос ее, гибкий и сильный, бился в тесном убожестве теплушки, и сама песня была пронзительна:

...То ж тепер все пропало, минулось,

Чорна хмара навкруги лягла,

І на горі синам України

Тяжка доля у гості прийшла...

Откуда она взялась, эта песня? Сроду ее не слыхала, но все в ней — о тебе, об израненной, обожженной земле твоей:

Плачуть бідні діти Вкраїни,

Плаче степ і широкі поля,

Плачуть діти, рожевії квіти,

Що навіки змарніла земля...

И катился по рельсам рыдающий вагон, и захлебывались слезами изменницы Родины... Можно это понять? Поди, попробуй...

Раньше думалось: чем больше узнаешь жизнь, тем четче выстраивается представление о ней, тем явственней границы между добром и злом, тем проще выбор пути. А выходит — чем больше видишь, тем трудней разобраться...

Как тогда, на бирже труда — ты не забыла?

...Зал был большой, но темноватый и походил на сберкассу. По всей длине его тянулась перегородка из дерева и матового стекла с нумерованными окошечками. Перед окошками топталась тихая очередь.

Тася тоже нашла нужное окошечко и пристроилась к очереди. Восемнадцать чужих паспортов затаились в плетеной кошелке, завернутые в бумагу. Они лежали так тихо, что Тася вдруг похолодела от мысли: а что, если их там уже нет? Что если она их потеряла? Или вытащил кто-нибудь?

Нет, все в порядке. Паспорта на месте. Через двадцать минут она протянет их в окошко и получит взамен восемнадцать чистых бланков «персональ аусвайс» — удостоверений личности. Может, их тут же и заполняют? Нет-нет, сказано: «получишь бланки» — иначе представляешь, сколько бы тут пришлось стоять? Восемнадцать бланков! Вот бы связаться с партизанами или с подпольщиками (впрочем, наверное, это одно и то же)! Как бы эти бланки пригодились!..

Правда, неизвестно, что стало бы с секретаршей Ларисой Антоновной и с людьми, оставшимися без документов, но мечта тем и сладка, что позволяет пре небрежь неудобными подробностями...

И вдруг Тасю пронзило резкое и точное ощущение: опасность! Словно кто-то чужой и сильный подслушивает ее мысли. Тревога накатывала сзади, и Тася обернулась. В стороне от разномастной очереди, столпившейся у окошек, неши-



роко расставив ноги, прочно стоял высокий статный офицер и, слегка склонив голову набок, смотрел на нее тяжелым внимательным взглядом.

Тася заставила себя отвернуться. Подходила ее очередь. Голос женщины, сидевшей за окошком, доносился до нее смутно, как сквозь слой ваты — очень уж громко стучало в висках: опасность, опасность, опасность! Ну что, казалось бы, может ей угрожать? Нет ведь при ней ничего такого — ничего, кроме мыслей, — но опасность была, она таилась в этом взгляде. Тася ощущала его всей кожей спины, корнями волос!..

Внезапно напряжение спало, голоса зазвучали четче и громче. Пересчитала бланки, расписалась в получении и обернулась: офицера не было. Можно идти!

Светлая широкая лестница полого стекала вниз, и вдруг Тася запнулась, словно уперлась в глухую, горячую стену: на площадке между вторым и третьим этажом, с кем-то разговаривая, стоял тот. Он не смотрел на нее, нет, но легче от этого не было, и, когда, обогнав ее на середине марша, немец сбежал вниз, освобождение не пришло. Поэтому Тася совсем не удивилась, увидев у подъезда зеленую шинель и надменно запрокинутое донце зеленой фуражки.

Тихонько — только бы не оглянулся! — проскользнула за его спиной, повернула за угол, едва удерживаясь, чтобы не побежать, но, не успев еще перевести дух, услышала торопливые догоняющие шаги и чуть запыхавшийся от быстрой ходьбы голос:

— Fräulein!¹

И сразу же, как бывает иногда в критические минуты, страх куда-то исчез, испарился, сменившись жутковатым весельем риска, шальной уверенностью в собственной неуязвимости. Обернулась, выжидая.

— Fräulein, suchen Sie Arbeit?²

Непроизвольно, почти бездумно обронила:

— Nein, ich hab'shon eine.³

Какое странное лицо: твердое, красивое, необычно темные для немца глаза и волосы — и шрам, от левого виска к правой щеке, узкий и длинный, как от сабельного удара. Впечатление такое, будто у человека два разных профиля... У человека? Разве это человек? Это же враг!

— Vielleicht, brauchen Sie eine andere?⁴

Эх, плохо тебя учили, Тася! Слова выдавливаются с трудом, как засохшая паста из тюбика: нет, спасибо, danke schön!,⁵ она уже работает и другой работы не ищет.

Ах, вот как? Где же? И сколько ей платят? Может быть, gnädige Fräulein⁶ все-таки подумает? Работа нетрудная — переводчицей; оклад повыше и паек по-

¹ Фроляйн (нем.) — обращение к девушке.

² Вы ищете работу? (нем.)

³ Нет, у меня есть работа (нем.)

⁴ Может быть, вам нужна другая? (нем.)

⁵ Большое спасибо (нем.)

⁶ Уважаемая фроляйн (нем.)

лучше. Wikado-La¹ — знаете, что это такое? — Так ведь она и языка-то по-настоящему не знает. — Вполне достаточно. — Но почему, позвольте спросить, ему пришло в голову обратиться именно к ней? — Видите ли (непонятный жест) — такое лицо...

Наверное, какой-то высокий чин: массивные серебряные погоны — какие-то плетеные, с дубовыми листьями... Плохо ты, Анастасия Гарднер, разбираешься в знаках отличия — и в своих, и в чужих...

...Пусть фроляйн не беспокоится, с работы ее отпустят. — У фроляйн нет оснований беспокоиться, она не собирается менять работу. — А может быть, стоит поразмыслить? Он пришлет за ответом, если фроляйн даст свой адрес. Впрочем, адрес можно узнать в конторе. Ах, фроляйн не хочет? Не хочет видеть немца в своем доме?

Очень трудно подбирать слова под этим испытующим взглядом.

— Deutscher oder nicht Deutscher — es ist mir gleich. Ich bin keine Nazionalistin.²

Смутная улыбка трогает углы твердого рта. Прищурясь, будто глядя в презерь прицела, немец раздельно выговаривает:

— Vielleicht auch keine Nazionalististin?³

В ответ отчаянно, как в прорубь с обрыва:

— Vielleicht!⁴

Быстро, опасно, как взведенный курок — последний вопрос:

— Vielleicht eine Kommunistin?⁵

И снова безрассудно — Господи, что она делает, куда ее несет! — Тася повторяет:

— Vielleicht!

Улыбка сбегает с лица, разделенного шрамом. Темные, без блеска глаза «держат паузу».

Что сейчас произойдет? Он расстегнет кобуру? Или прикажет проходящим мимо солдатам схватить ее? Так вот — не страшно, не страшно, не страшно!..

Происходит неожиданное: офицер почтительно наклоняется и целует узкую смуглую руку:

— Sie sind ein tapferes Mädchen!⁶

Оцепенев от изумления, Тася молчит — очерстевшие губы не в силах разомкнуться, — а враг выпрямляется, шеголевато, как на плацу, щелкнув каблукками, вскидывает руку к козырьку и, четко повернувшись, уходит.

Тася идет, не смея оглянуться, всей спиной ожидая выстрела, но выстрела нет, все спокойно, звонкие шаги удаляются...

Враги, значит, тоже бывают разные?

¹ Управление по делам сельского хозяйства.

² Немец или нет — мне все равно. Я не националистка (нем.)

³ И не националсоциалистка, наверное? (нем.)

⁴ Возможно (нем.)

⁵ Возможно, коммунистка? (нем.)

⁶ Вы смелая девушка! (нем.)



...Вот Зина — они с матерью мыли посуду на немецкой кухне. Зину взяли: 58, 1а, — а мать не взяли. То есть слава Богу, конечно, что не взяли, но Зину за что?

Рыжую Веронику вроде бы «за язык». Что-то кому-то ляпнула в сердцах. Елизавету Андреевну, говорит, за приемник. Немцы, отступая второпях, оставили «телефункен». Пришли наши — не успела заявить. Кто-то опередил...

Говорят, всем, кто работал у немцев или при немцах, аж две статьи могут дать: пункт 1а — измена Родине и пункт 3 — помощь врагу. Это, значит, Зине могут добавить? А тебе? Ты ведь тоже курьером работала. Голова кругом идет. Так и вправду поверишь, что в чем-то виновата!

У Матильды — 58, пункт 6. Шпионаж. Глупая, вздорная старуха — какая там из нее шпионка!..

Событие! Полная неожиданность — обход врача! Вдруг открылась дверь, и в камеру вошел, опираясь на костыль, худой, очень высокий человек в защитной гимнастерке с погонами капитана медслужбы. Он был до того непохож на других — ростом, худобой, серыми серьезными глазами за толстыми стеклами роговых очков, выражением некрасивого лица, траченного оспинками и печалью, — что казался абсолютно неуместным, случайным, совсем не отсюда... Хмурясь, как от боли, — а может, действительно нога болела? — спросил, какие у кого жалобы. До сих пор как-то само собой разумелось, что жалоб не должно быть, поэтому все промолчали.

Капитан, морщась, передвинул костыль и еще раз спросил: жалобы на здоровье есть? На здоровье, очевидно, жаловаться было можно, и кто-то за Тасиной спиной рискнул:

— Да вот понос...

И тут все поносники разом загалдели. Капитан огляделся, потыкал пальцами отеки, неодобрительно следя, как медленно сглаживаются ямки после нажима, записал что-то в блокнотик, спросил, есть ли чесотка, придирчиво осмотрел руки, опять что-то записал, еще раз трудно переступил и сказал:

— При тюрьме есть санчасть и лазарет. В случае недомогания следует заявить на проверку; вас вызовут.

Пощупал пульс у Матильды, записал на прием Драчову, кивнул — не то камере, не то своим мыслям — и, стуча костылем, вышел.

— Справился, — подытожила рыжая Вероника. — Вылечил.

— Ну что ж, — отозвалась Зинаида Борисовна, — и на том спасибо. Все-таки развлечение.

Однако назавтра дежурный надзиратель, распахнув кормушку, выкрикнул:

— Драчова, Кноблаух! Без вещей! — и отворил дверь.

Вот это да! Матильда растерянно оглянулась и шатко, всем телом, как против ветра, наклоняясь вперед, поковыляла вон. За ней, в ниточку стянув решительные губы, вышла Анна.

Камера всколыхнулась: Матильда что — божий одуванчик, а Драчова — видали, самая больная выискалась! Так каждая могла бы!

— Ну, и кто мешал, спрашивается? — брезгливо говорит Зина и, положив голову на руку, сладко закрывает глаза.

— Днем не спать! — раздается из-за дверей бдительный окрик. Господи, оно ему надо!

Из санчасти они вернулись довольно быстро. Матильда, сохраняя то же растерянное выражение, мышкой бесшумно скользнула на нары; Анна, пылая пятнами румянца, шумно глотнула воздух и бросилась ничком, зарывшись лицом в тряпье. Соседки, сунувшиеся было расспрашивать, шарахнулись в стороны, обожженные бешеным матом:

— Обдурили, обдурили, проклятые!..

Даже надзиратель, пришедший за Матильдой, чтобы отвести ее в лазарет, не рискнул зацепить рыдающую Анну — вошел и вышел, словно бы не заметил никаких нарушений распорядка. Впрочем, внимание сокамерниц быстро переключилось на Матильду. Счастье, подвалившее старухе, одних расстроило, других обнадежило, но никого не оставило равнодушным. Об Анне на какое-то время забыли. И только после вечерней поверки Зинаида Борисовна отважилась дотронуться до ее плеча.

Об Анне никто ничего не знал: кем была, как и за что арестовали — ничего! И вдруг — теперь — открылось, что через все обыски и досмотры пронесла она справку о том, что больна сифилисом. Кто-то сказал ей, что сифилитиков в тюрьме не держат. Непонятно только, почему она тогда до сих пор эту справку не предъявила? Может, хотела подальше от дома?

Все это время припрятанная справка давала ей тайное ощущение мрачного превосходства над другими: ведь ее отпустят — отпустят! — а они все будут сидеть, и еще неизвестно, где и сколько. И вот теперь оказывается — она как все. Врач сказал, нет такого закона — освобождать. Для заразных есть изолятор, а она вроде бы и не заразная. Не заразная? Тасю колотил озноб брезгливого страха. Однажды, совсем еще крохой, папа повел ее в поликлинику — у нее болели уши, — и там грамотная девочка Тася, с удовольствием демонстрируя свои познания, громко и радостно прочитала большой и не очень понятный плакат: «Сифилис — не позор, а несчастье». Поскольку перед этим было прочитано, что грипп — это заразная болезнь, было совершенно ясно, что сифилис — это тоже болезнь, только пока еще Тасе неизвестная. Поэтому любознательный ребенок тут же спросил: «Па, а что такое сифилис?» Окружающие воззрились на нее и на папу с явным интересом, но папа почему-то сконфузился, и Тася, отчасти, чтобы подбодрить его, отчасти, чтобы показать свою сообразительность, продолжала: «Это такой тиф, да?» На всех этажах поликлиники по стенам висели плакаты, призывающие мыть руки перед едой и разоблачающие мух как переносчиков брюшного тифа. Созерцая красочный портрет крылатого врага человечества, Тася благоразумно заключила: «Позор — это есть немытыми руками, а вот если на еду грязная муха сядет — тогда это уже не позор, а несчастье». Папа с готовностью согласился, и Тася успокоилась; но позже, когда она уже подросла и вслед за «Детством Темы» была прочитана вся трилогия Гарина-Михайловского, Тася ни в коем случае не бралась в поликлинику за ручку дверей иначе, как через бумажку, — такой ужас внушал ей этот «не позор». А тут одна, вечно брызгающаяся, параша, одна жестяная кружка у бачка с водой и деревянные миски, и шайки в бане, которых никто никогда толком не моет...

Потеряв надежду на скорое освобождение, Драчова нашла себе злое утешение. Если раньше, когда ей выпадало дневалить, она ни с кем не делилась добычей, то теперь она каждый раз непременно оставляла на дне миски две-три ложки и милостиво предлагала кому-нибудь: «Хочешь — на, доешь!» И с жестокой радостью наблюдала, как борются в человеке голод и страх заразиться, отчаянная мольба пустого желудка и глухой голос издыхающей брезгливости. Ради этого удовольствия она готова была отказаться даже от картофеля или пары галушек, случайно попавшихся в жидком клейстере затирухи.

Корнеевна не выдерживала, бесцветная, бессловесная Елизавета Кочетова — тоже. Тася отказывалась, и Анна, царапая ее острым карим глазом, сулила: «Гребеешь? Ничего, еще попросишь!»

— Как ты думаешь, — спрашивает Зина, — у нее действительно сифилис или только справка?

А кто ж ее знает!

Наконец пятерых уводят на допрос. Уводят с вещами — допросы идут в КПЗ. Туда забирают на несколько дней, на неделю, а то и больше — как у кого пойдет. На освободившиеся места выползают те, кому довелось преть под нарами. Благодарить! И все-таки — скорее бы они вернулись! Скорее бы узнать, как это — настоящий допрос.

И снова по коридору стук костыля. На этот раз врача сопровождает такой же долговязый фельдшер с ведерком и черпачком-меркой. В ведерке — густая темная жидкость; каждой по черпачку — терпко и чуть сладковато. Запах вроде бы знакомый, но абсолютно непонятный.

— Пейте, пейте, это от поноса.

— Ни дать ни взять — причастие, — фыркает Нюрка-беленькая.

— Закусить бы... — говорит кто-то нахально и мечтательно.

— Не располагаю, — оборачивается врач с порога.

Когда дверь за ними закрывается, Елизавета Андреевна авторитетно поясняет:

— Не поняли? Дубовая кора это, отвар — телятам от поноса дают. Поможет там или не поможет — вреда не будет.

И еще неожиданность: к обеду дают «винегрет». Это нечто довольно странное: какая-то трава, сырая свекла и кусочки моркови. Морковка нечищенная, но ведь витамины!

— Ты знаешь, по-моему, это настоящий человек, — говорит Зинаида Борисовна, и Тасе тоже кажется, что в коридоре за раздатчиками мелькнуло защитное «хабэ»...

Из КПЗ возвращаются трое, и еще четверых уводят. Слава Богу, лед тронулся! Вся камера накидывается на получивших боевое крещение: ну как?

Маруся Купина какая-то совсем иная, возбужденная, будто встрепанная — хотя прямые волосы ее лежат по-прежнему гладко, — сообщает Тасе потрясающие новости. Первая — что умер муж Матильды; умер в КПЗ после первого допро-



са. Кто его знает, били или так отчего — много ли ему надо было, божьему одуванчику! Но на душе муторно: перед глазами баня в Лисках, две старческие фигурки в последнем объятии, и Матильдины волосы, рассыпанные по голым плечам, и страшно думать о старухе, которая там, в лазарете, еще ничего не знает, и стыдно, стыдно, стыдно за себя, за свою неприязнь...

Вторая новость: Маруся видела Тимку, одного из волчанских конвоиров. Вместе из КПЗ шли. За что попали? Да черт попутал — целый этап в расход пустили! Завели в ярочек, в стороне от дороги — и порядок: при попытке к бегству!.. Небольшой этапчик, оно бы сошло — сходило ведь по малости, — но оказалось, был там важный какой-то арестант. Нужен начальству — вот вынь да положи! А где ж ты его возьмешь, если все там остались? Конечно, если б знатьё, так можно бы и не торопиться...

— Неужели он так тебе и сказал? Так и сказал? Открытым текстом?

— Ой, Таська, не блажи! Он же ничем не рискует. Смотри сюда лучше!

— Вот это и есть третья новость? Железяка какая-то...

— Ох, правильно моя бабка говорила: нет ума — считай калека! Да мы эту железяку заточим — тот еще будет ножичек!

— А где же ты заточишь?

— Ну, делов куча! Об батарее — раз плюнуть. Только вот — где прятать? Надо придумать, чтобы в случае чего ничей — понимаешь?

Отличный получился ножичек! Из сосновых палочек, которыми доведки прикалывают, Зинаида Борисовна выстругала вязальный крючок, распустила край платка и связала себе на кофту воротник и манжеты. Не то чтобы острая была необходимость — прожила бы и так, — но событие взволновало всю камеру. Вспыхнула прямо эпидемия: все сушили палочки, ссорились из-за очереди на ножичек, скоблили, выгачивали, ревниво сравнивали, у кого лучше... Тем же ножичком отрезали, почти по локоть, безнадежно рваные рукава у Тасиной вязанки, распустили, перемотали; немного поколебавшись, Тася распустила краешек теплого синего шарфа — память о бабушке! — это будет отделка! Зинаида Борисовна, Зина и Даша по очереди заслоняют рукодельниц от глазка, чтобы надзиратель не застукал. Сейчас Тася даже довольна, что на допросы не вызывают, а то как бы она в недовязанном?

И вот наконец — пожалуйста!

— Та куди твоє діло! — всплескивает руками Корнеевна. — Прям'хоч підвінець!

А Тася смотрит на свои руки: худые, с сухой шелушащейся кожей, торчащие, как чужие, из укороченных рукавов, на свои распухшие пальцы — действительно «хоть под венец!»

Эх, жаль, что вязать больше нечего! Вязанье — оно как наркоз: гложет боль, блекнут и туманятся мысли, и не то спокойствие, не то равнодушие окутывает тебя защитным коконом. Недаром некоторые женщины в камере распускают даже чулки!..

А вот Елизавета Андреевна не вяжет.



Увели в КПЗ Корнеевну и Любу Чернышеву. Люба — большая, сероглазая, неразговорчивая — оказывается, немка. Да-да, немка — откуда-то из Запорожской, что ли, области, мать — украинка, отец — немец, муж — русский, майор, на фронте. Пришли немцы, отца сразу вызвали, назначили бургомистром — как-никак, фольксдойче. Нелегко ему пришлось — между двух стульев сидеть! С одной стороны, оккупантам служи — должность такая, а с другой — сам-то ведь из местных, и деда, и прадеды тут, к этим местам приросли, с людьми породнились. Вот и вертелся, как угорь на сковородке. Многих выручал: некоторых от отправки в Германию спас; бабам, которые пленных в приемы брали, справки давал, что это их мужья; в бывшей колонии малолетних правонарушителей детдом организовал для сирот — и продукты для детдома достал откуда-то! Однако были, наверное, за ним и такие дела, которыми перед дочерью не похвалишься. Одним словом, как стали наши подходить, он задумываться начал. Отослал Любу к тетке в деревню погостить, а сам отправился. Вместе с женой отправился — как жили, так и ушли. А Любе через надежного человека письмо передали: мол, живи, доченька, а мы свое отжили. Зла старались не делать, кому могли, помогали, а как там посмотрят — неизвестно. Не хотим тебе жизнь портить. Уезжай куда-нибудь, где тебя не знают. Мишу своего, если жив останется, разыщи — он у тебя хороший. И не казни себя: ты-то ни в чем ни перед кем не виновата! И отца не суди: был бы вместо него подлец какой-нибудь, сколько бед мог бы натворить! Нет, доченька, все правильно. Живи и будь счастлива.

Ну, ей бы действительно уехать подальше, затаиться бы на время, а она, как узнала, кинулась проститься, на могилке побывать. И потом еще мысль была: ведь Миша, если жив, тут искать ее будет — может, письмо пришло?.. Так ее на второй день и забрали — донес кто-то...

Так что же, Господи, враг она или не враг — эта Люба? И тот, кто донес, как он думал: враг Люба или нет? И вообще — почему люди доносят? Вот на Таню-расстрелянную донесла соседка, что Таня вроде бы с немцами отступала, так тут все понятно: она ведь Танину комнату захватила и, конечно, испугалась, когда та вернулась — вдруг отберут?

А Софка Перман — помнишь Софку Перман из восьмого «в»? Они с матерью не эвакуировались: у них при первой бомбежке бабушку парализовало. Ухаживали за старухой, камфарным спиртом обтирали, чтобы пролежней не было, — и надеялись. А что им еще оставалось? Все надеялись — это был основной жизненный стержень. Но пришли немцы и вывесили приказ. Софка с матерью в гетто не пошли, остались с бабушкой: не бросить же ее и с собой не возьмешь... Но кто-то донес, и Софку повесили на фонарном столбе, в двух шагах от дома. Софку повесили, а бабушку и мать не тронули. Ветер шевелил Софкины рыжие косы и чуть раскачивал худенькое тело в клетчатом платье с аккуратными заплатками на локтях. Маленькие ноги в детских туфельках на пуговках тянулись носками, будто силились и все не могли дотянуться до земли. Три дня мать ходила вокруг, ласково укоряла: «Софочка, деточка, некрасиво так: у тебя косички совсем растрепались...» — и смеялась хрипло, и грозила кому-то пальцем... На четвертый день мать пристрелили, Софку сняли, а бабушка умерла сама — никто и не заметил, когда...



И еще припомнилось Тасе: незадолго перед войной в школу перевелась новенькая девочка. Девочку звали Лиля Ройзман, жила она возле самой школы (недавно переехала) и была так удивительно, так неправдоподобно красива, что смотреть на нее бегали все классы, старшие и младшие, мальчишки и девчонки. Родителей у Лили не было, что с ними и живы ли, никто не знал наверное. Жила она вместе с бабушкой; ходила всегда в одном и том же темном платьице, ни с кем не дружила, ни с кем не болтала на переменах; училась с блеском, но без радости, словно всю школьную программу — и много больше — знала давным-давно и ничего нового от учебы не получала, просто стирала пыль со старых знаний...

Жили они замкнуто, никуда не ходили и к ним никто не приходил — разве что белесая, долговязая девочка Ванда, с которой Лиля сидела за одной партой, забегала иногда узнать уроки или попросить учебник. Ванда считала себя единственной Лилиной подругой и несказанно этим гордилась — все-таки Лиля была своего рода школьной знаменитостью!

Бабушка Лилин встречал ее ласково, всегда старался чем-нибудь угостить и, казалось, был благодарен ей за то, что она нарушает их одиночество. Лиля была сдержанно приветлива.

В гетто они не пошли. Может, им казалось, что большая беда, как скарлатина, оставляет иммунитет? И правда — в первые месяцы оккупации Ройзманов, как ни странно, никто не трогал. А потом на них донесла Ванда.

Кто знает, с каким чувством она вглядывалась в их лица, когда полиция вывели старика с внучкой из дому; только говорят, что, увидев Ванду, Лиля улыбнулась разбитыми губами — может, впервые за все время. И Ванда забилась в истерику...

...А эта Люба — ну кому она свет заслонила? Допустим, отец там был старостой или бургомистром — так то ж отец! Был бы жив — с него и спрос. А Любу за что?

Вот тебе же, например, не зудит донести на бывшую подружку? Ляля, хотя ненамного старше, многое успела: поступила секретаршей к директору кроватного завода — что он при немцах делал, этот завод, не кровати во всяком случае? Так вот: поступила секретаршей, стала женой — от бывшей увела. Переехал и Ляле со всеми ребятишками — даже пианино тещино прихватил. Новую супругу директора стали обучать музыке и немецкому языку: полумертвого от голода школьного учителя наняли за тарелку супа поурочно и кило кровяной колбасы в месяц.

Потом на завод прибыл военный директор, немец — завод же, как сказано, не кровати выпускал. Этому Ляля тоже приглянулась: свеженькая, хорошенькая, по-немецки щебечет. Злополучного супруга без особых церемоний выдворили, бывшей жене (пианино, однако, не отдали), а Отто перебрался к Ляле. Ходили слухи, что она разъезжает с ним в открытой машине с породистой собачкой на коленях. Вранье, наверное: ведь извели в городе собак — часть немцы постреляли, а остальных отловили, съели...

Однажды встретились. Розовая, вся в локонах, с золотым медальоном в небольшом вырезе белого чесучового платьица, Ляля приветливо пропела: «Nun, wir



geht es ihnen?»¹ Как будто не видела, как оно тебе «geht» — голодной, опухшей, в нечистом, неглаженном тряпье! И главное, улыбается: улыбка такая, никому особенно не адресованная, — просто от внутреннего довольства... Ты же этого никогда не забудешь — но ведь доносить не побежишь? Обходить будешь десятой дорогой — но не доносить же? За что? Она никого не убила, не предала, не продала, кроме себя самой — ну и пусть живет, как может. Впрочем, совесть ее, наверное, и не мучает: ведь тех, чье золото она носила, и в глаза не видела...

А помнишь, как ты в первом классе тройку за поведение схлопотала? Как тебя тогда классная руководительница отчитывала: «И не стыдно тебе? А еще папа учитель!»

Школа была образцовая, опытно-показательная: чтобы не отвлекались и чтобы осанка была хорошая, на уроках заставляли руки складывать за спиной: «Руки на парту, руки за спину, в классе стало тихо. Слушаем учителя!»

А впереди тебя Кларка Мирошник сидела — такая крыса, тихоня — вечно все исподтишка! И вечно из носу коза зеленая — фу, гадость! Так вот, эта Кларка додумалась: сидит себе чинно, руки, как положено, за спиной — а сама тебе потихоньку дулю показывает! Ты ее, конечно, в спину кулаком: обидно же! А она, тихоня, даже не оборачивается. Учительница Мария Ивановна очень удивилась: «Как тебе не стыдно, Тася Гарднер! Ты почему дерешься? Встань и стой!» Встала. Стоишь, торчишь посреди класса, как дуб посреди поля. Стояла-стояла, пока учительнице не надоело. Только села, а Кларка уже две дули сворачивает, обеими руками. Ты ее опять в спину — раз и два — по числу дуль!

Мариванна аж зашлась: «Да что же это такое? За что ты Клару бьешь? Сидит девочка тихо, никому не мешает, а ты ее избиваешь! Встань и стой!»

Встала. Стоишь, сопишь — ведь ябедничать некрасиво! А учительница тебя воспитывает: «Ты представляешь, как твой папа расстроится, когда узнает? Это же срам какой — дочка дерется! Обещай, что не будешь больше драться. Обещаешь?» А как ей обещать — вдруг Кларка еще что-нибудь придумает? Получится, что ты соврала!

А Кларка совсем обнаглела. Поняла, крыса, что тебя хоть убей — все равно не скажешь, и уже четыре дули крутит, с мизинчиком, по две на каждой руке. Скрутила, старательно так — а сама, как ни в чем не бывало, глазами ест учительницу. Спрашивается, кто это вынесет? Ясное дело, саданула ее между лопаток — аж носом об парту стукнулась. Даже кровь закапала! Ох, что тут поднялось. Выгнали тебя из класса, а на перемене к завучу «на ковер»: слыханное ли дело — отличница, учительская дочка, а дерется, как последний хулиган — другой ученице ни за что ни про что нос разбила!

Вечером папа пришел с работы вконец озадаченный: «Ты что это — одичала? С каких это пор ты решила, что можно руки распускать? Очень ты меня огорчила. Как это произошло — ты мне можешь объяснить?» Тут уже отмалчиваться нечего — папе надо все начистоту: про дули, про козу из носу... «Ты же сам говорил, что ябедничать стыдно». — «Ну, хорошо — а драться зачем?» — «Так что

¹ Как поживаете? (нем.)



же — пусть ей все с рук сходит? Это тоже не по справедливости!» Папа подумал и сказал: «Видишь ли, какая штука: ты же себя уронила. Ее наказала, а себя уронила — что тебе важней?» Тем дело и кончилось.

А тройку в четверти «за поведение» тебе все-таки влепили...

А к чему все это припомнилось? А-а, все к тому же: почему доносят. И почему — нет...

Привели из КПЗ Нюрку-беленькую. Плачет. Такая история: замуж вышла перед самой войной; муж без вести пропал, без мужа свекруха-зараза всю голову прогрызла. Плюнула Нюрка и ударилась во все тяжкие. Путалась с румынами (румыны у них стояли), подхватила какую-то гадость. Пришли наши — командира заразила молоденького. Он ей морду набил; ну, набил — и ладно. Говорят, таблетки есть такие: две недели попринимал — и порядок. Узнать, где у них медсанбат, на молоко, может, выменять или на яички — а то, может, так дадут? На том и порешила, а тут вдруг пришли и забрали. А теперь, оказывается, аж две статьи ей: пятьдесят восемь-один а — измена Родине, и еще пятьдесят восемь-какая-то — пособничество врагу...

Господи, как это дико все: румыны эти, грязь какая! — и командир этот тоже, — но при чем тут измена Родине? При чем пособничество врагу? Конечно, если знала, что заразная, и заразила кого-то, это подло, может, и статья за это есть какая-то, но при чем тут Родина? Как теряет очертания, как путается все: Родина, справедливость... Огромное, горячее, единственное, что согревало в самые черные, ледяные дни и ночи. Вера, достоинство, сама жизнь — все на этом держалось! Если бы ты знала тогда, что Родина будет гноить тебя в вонючем казанском клоповнике, — да нет, даже не в этом дело — если бы ты знала тогда, что Родина может быть несправедливой, ты бы ни за что не выжила, ты бы умерла, может, еще раньше папы!..

Легко было Вере Фигнер и Николаю Морозову, легко было Тельману и Дмитрову: их держали в тюрьме враги. Они знали: их долг — противостояние, они обязаны выстоять. Из этого одного можно было черпать силы — из ненависти! А здесь? Тут же просто не на что опереться — разве можно возненавидеть Родину?

Как он кричал тогда — «Расстреляйте меня, я больше не могу так жить!..»

Отсюда, из этой камеры, кажется, что не только жизнь — сама смерть унижена. Как они умирали — твой папа, твои учителя, художник из дома напротив... Смерти смерть поправ! Тебе так это виделось, они сами в это верили — десятки тысяч умиравших в грязи и во вшах — они знали: они уходят непокоренными! Лучшие люди, цвет интеллигенции — у них даже нет могил! Они растворились в родной земле — ведь это и есть Родина? А как эта баба тогда, на барже, припечатала тебя? — «Нікчема ти, і батько твій нікчема! Не був би нікчемою, не здох би з голоду — пішов би, як люди, у поліцаї, абощо...» Как люди...

...Распахивается кормушка:

— На прогулку приготовиться!

Слава Богу, сегодня прогулка. Говорят, полагается каждый день, но тут это не частый праздник. Наверное, заключенных сейчас так много, что прогулочных дво-

риков не хватает. А может, он вообще один — тогда тем более... Но сегодня — ура!

Обычный переход — со звоном ключей и решеток, по лестнице, обтянутой сеткой, — во дворик тот же, что и всегда, но сегодня здесь почему-то фельдшер с какими-то темными бутылками и две уголовницы из обслуги.

Построение как для переклички. Звучит команда:

— Р-раздевайся!

Никто не шевельнулся — никто ничего не понял.

— Всем раздеться. Одежду сложить в угол. По очереди подходить ко мне! — это уже фельдшер командует.

Кое-кто — самые послушные или самые расторопные — подходят, но фельдшер уже раздумал:

— А-атставить! Встать в строй!

Нелепое, непристойное зрелище — строй голых женщин! Уголовницы уносят куда-то охапки одежды. Фельдшер с бутылкой в руках подходит к правому флангу:

— Вот этой жидкостью — это от чесотки — каждому намазаться. Все тело, как следует. (А можно ли сказать «каждому», если в строю одни женщины? — спрашивает себя Тася.) Староста! Кто староста? Ты отвечаешь.

— А у кого нет чесотки?

— Всем, без разговоров!

— Гражданин начальник, разрешите обратиться!

Староста Жигалова, качнув тяжелыми грудьми, без смущения выступает вперед.

— Обращайтесь.

— А куда нашу одежду забирают?

— В калилку, на дезинфекцию. Сохните так. Еще вопросы?

Вопросов нет. Густая желтая жидкость тошнотворно пахнет серой.

— Разобрать бутылки, — брезгливо морщась, бросает фельдшер. — Приступайте, — и слава Богу, уходит.

Сбиваясь в кучки, инстинктивно укрываясь друг за другом, мажут друг другу спины. Тяжкий серный дух повисает над двориком.

— Эй, бабы, не кучкуйся, — орет с вышки вертухай. — Разойдись! Встать в строй! Ходить строем!

Такое и во сне не привидится! Голый желтый строй медленно движется по периметру дворика, благоухая серой. Желтая жидкость, высыхая на ветру, пощипывая, холодит кожу.

— Сатаной пахнет, — неожиданно изрекает Елизавета Кочетова.

Строй судорожно фыркает.

— Да уж, без сатаны тут точно не обошлось, — откликается кто-то.

Веселье!

Приносят охапки горячего тряпья. Снова появившийся фельдшер распоряжается: не стирать, не смывать, пока само не сотрется.

Тася натягивает неостывшую одежду. Прогулка закончена. И чему радовалась?

Уже ночью проснулась и, ощущая исходящий от тела сатанинский запах, подумала: спасибо хоть врача при этом не было!..



Староста Жигалова распустила кайму с одной стороны платка — там дырочка была — и теперь Зинаида Борисовна вяжет ей капорок для дочери, этакое пушистое чудо! Все знают, что Елизавету Андреевну должны скоро выпустить: из КПЗ она вернулась веселая, объявила, что муж орден получил — следовательно сказал, в газетах было! Может, и так, конечно...

Крючок мерно ныряет и выныривает. Тася бездумно следит за его движениями, и в голове тихонько начинает биться слабый и нежный ритм, подталкивая какие-то близлежащие слова:

«В дни нелепой и тяжелой разлуки,
Вдалеке от родимой земли
Арестантские бледные руки
Для тебя это чудо сплели.
Здесь нас общее горе свело,
Но ты верь: мама скоро вернется,
И тогда твоей щеки коснется
Беспечальное это тепло...»

Тася трогает коленку Зинаиды Борисовны, и та с готовностью доброго внимания улыбается навстречу. Дослушав, она обнимает Тасю за плечи и, покачиваясь с ней вместе — так ласково качают люльку, — говорит:

— Эх, не знала твоя мама, какую девочку оставляет...

Тася вздрагивает: не надо, не надо о маме, мамин эшелон разбомбили...

— погоди, еще ведь ничего не известно. «Бомбили» — еще не значит, что разбомбили, а если даже и разбомбили — ведь не все же погибли! Вот увидишь, вы еще встретитесь.

И снова укачивает Тасину боль, и та постепенно смягчается и тоже обретает ритм; ритм складывается в смутные, еще неясные строчки, комочки слов склеиваются, распадаются, снова лепятся друг к другу:

«Мы друг друга узнать не успели,
Ты ушла, не заметив меня...»

Елизавета Андреевна, по-особому, ей одной свойственным движением вскинув подбородок, окликает:

— Ты что качаешься — живот болит?

Строчки сминаются, Тася отряхивается, как собака из воды:

— Хотите, я вам стихи почитаю? Вашей дочке посвящается.

— Читай, — вяло соглашается Елизавета Андреевна и тут же досадливо спохватывается: — А-а, все равно бумаги нет — на чем запишешь? Надо у следователя попросить.

А даст? Не даст, наверное.

— Я свои стихи все помню, — сдержанно хвалится Тася, — они у меня в голове.

— Мало ли что, — отмахивается Елизавета Андреевна, — твою голову к кому пору не пришьешь!

Вообще-то немножко обидно...



С мыслью о маме просыпается другая боль: там же война идет! Наступают наши или, может, отступают, берут города или сдают города? Кого-то убивают, кого-то ранят, кто-то попадает в плен, кто-то совершает подвиг, а они тут — как инфузории под микроскопом. Все их события — баня, прогулка, вошебойка, отвар дубовой коры, лишняя ложка баланды, найденная железка...

Когда-то, в каком-то старом журнале — то ли «Следопыт», то ли «Мир приключений» — ты читала фантастическую повесть о человечках, путешествовавших внутри человеческого организма по рекам кровеносных сосудов.

Иллюстрации, похожие на старинные гравюры, — таинственно и немножко страшно. Там, в этом внутрочеловеческом мире было свое небо, свои светила... Вот так и здесь: свое небо — узкое, в клеточку, свое светило — забранная сеткой хилая лампочка, свое движение времени — от подъема и оправки до раздачи хлеба и дальше... А как движется время в большом мире? Какое сегодня число? «Какое, милый мой, у нас тысячелетье на дворе?»

— Какое сегодня число, кто знает?

— Оно тебе надо?

Тасю вихрем сдувает с нар. Рискуя нарваться на наказание, она стучит в кормушку, пока кормушка грозно не отщелкивается и в проем не заглядывает удивленное и разгневанное лицо надзирателя.

— Чего надо?

— Какое сегодня число? Скажите, пожалуйста, какое число?

— Ты что — ополоумела? Оно тебе надо?

Кормушка захлопывается, но через мгновение снова приоткрывается:

— Четырнадцатое июня, — негромко роняет надзиратель, и щель тотчас замыкается.

Что-то, наверное, в Тасином лице заставило его ответить. Что-то в Тасином лице заставляет Зину подняться с нар:

— Ты что? Что случилось?

Тася обмахивает ее взглядом — так, бывает, рассеянный луч прожектора обмахивает небо — и ложится на нары. Днем нельзя, но ей все равно, все равно — пусть наказывают. Все равно — раз свой день рождения Анастасия Гарднер встречает на тюремных нарах!

За три месяца — сегодня ровно три месяца! — о ней ни разу не вспомнили, не вызвали на допрос! Она может просидеть здесь еще три месяца, три года, три десятилетия — это никому не важно! Всем все равно! И жить или не жить — тоже уже все равно, в конечном счете.

— Слушайте, — ахает Зинаида Борисовна, — Тася ведь у нас, оказывается, именинница сегодня!

— Усі раді — і ми трошки, — ехидно откликается Корнеевна.

— А что — по этому поводу бал при свечах? — светским тоном осведомляет-ся голубоглазая молдаванка.

Наверное, правда, что ее «за язык» арестовали...

— Какие мне мамочка торты на день рождения пекла — вы просто не представляете, — вздыхает Виктория.

Нет, Тасе, худенькой, диковатой девочке без мамы не устраивали пышных



дней рождения. Не пекли пирогов, не звали гостей, не дарили дорогих игрушек и нарядных платьев, как было у других, благополучных девочек, но Тася им никогда не завидовала. В этот день в дом обязательно приходило что-то особенное, исполненное, как некий тайный знак, скрытого смысла и драгоценное, как понимание. Папа мог подарить им с сестрой щенка, мягкого и пушистого, как тети-Тонина муфта, или голосистую сопилку, атлас звездного неба или определитель растений, мог повести их в оперу, где они, упираясь исцарапанными острыми локотками в роскошный малиновый бархат, в строгой очередности приникали к перламутровому театральному биноклю. Там, на сцене, текла другая, необыкновенная, красивая жизнь; девочек до сладостного озноба омывал поток волнующих звуков. Это было их общее таинство — и разве можно было променять все это на какой-то пирог?

Чей бы ни был день рождения, подарок всегда предназначался обоим — это было привычно и казалось единственно справедливым. Более того: если бы когда-нибудь случилось иначе, это вызвало бы у именинницы тягостное чувство неловкости. Ведь так хорошо, когда твой праздник несет радость еще кому-то — как будто ты сама даришь ее, эту радость!..

Но теперь все кончено. Папы больше нет, мамин эшелон разбомбили, а сестра, сестричка, твоя маленькая мама — неизвестно где... Нет, неправда: это ты неизвестно где! Никто на свете не знает, что ты, Тася Гарднер, сидишь в чисто-польской тюрьме, никто никогда не станет тебя разыскивать по тюрьмам и пересылкам! Для всех — да и, пожалуй, для тебя самой — твоя жизнь остановилась на пороге волчанского госпиталя. Ты довезла, сдала в Волчанске транспорт раненых — и перестала существовать. Вот и все. Может, так действительно лучше? Чтобы не было в твоей судьбе унижений и стыда, вонючей параша и изнуряющего голодного поноса, чтобы никто даже представить себе не мог гордую Тасю, ее смуглое чистое тело в безобразной процедуре обыска или санобработки. Пусть лучше ничего не будет.

В детстве тебя звали Багирой — прозвище пристало к тебе, как кожа. Багира в клетке — что может быть неуместней...

...Обед. Тяжко гупает у дверей баланда. Сейчас откроют кормушку.

— Дневальные, принимай!

Дневальные включают в четкую суету раздачи. Деревянно стучат в коридоре миски, хлюпает, ныряя, черпак, но все это уже тебя не трогает, все — мимо.

Даша ставит рядом с тобой миску:

— Тася, тебе.

— Я не буду, отдай Зине. Зина, я не буду, слышишь? Ешь.

Камера затихает: такого еще не было!

Больше Тася ничего не говорит. Она лежит лицом к стене и думает. Мысли перескакивают с одного на другое, Тася их не направляет, не сдерживает, они мечутся сами по себе — остается только устало следить за их неожиданными переплетениями.

Хорошо, что Матильда в лазарете, и тебе досталось ее место у стены.

Можно лежать и ни на кого не смотреть, никого и ничего не видеть — только



неразгаданная тайнопись пятен и трещин на штукатурке, больше ничего... Можно чертить на стене, невидимо для других: мама, мамочка, где ты?!

Странно: почему «мама»? Почему в тоске ты обращаешься к ней, если она никогда не была рядом? Почему зовешь ее, если она никогда не приходила к тебе на помощь? Потому ли, что папы больше нет и ты даже не знаешь, где его зарыли? Или потому, что он всегда был с тобой, в тебе, а ее так больно, так остро не хватало?

Ты не ревновала ее к новым, любимым детям — ты любила их, и это тоже было от папы. Он работал на трех работах, чтобы помочь их беспечной семье. Даже перед смертью он говорил: «Ты запомни, мама твоя — прекрасный человек, это я перед нею виноват». Он никогда, что бы ни случилось, не искал виноватых среди других. Прежде всего он искал, в чем мог быть виноват сам. И еще: в чем его долг перед другими...

И ты тоже, как пушечное ядро, таскаешь за собой свою вину: это из-за тебя он не выехал, из-за тебя погиб — это ты виновата в его смерти.

Но перед Родиной — неправда, нет перед Родиной твоей вины. Только доказывать это некому...

...Куда девалось ощущение голода? То главным было, какая попалась пайка — горбушка или серединка, с довеском или без, с какой стороны начнут раздачу баланды, сверху или со дна бадьи тебе достанется, — а теперь это тебя как будто не касается. Тебя уговаривают поесть — все мимо, мимо — только бы не оборачиваться, не отвечать, не менять положения...

— Не чіпайте її, нехай людина доходить, — мудро говорит Корнеевна, — давайте краще я із'їм.

...Зинаида Борисовна просится к врачу — говорит, сердце... Нет, у тебя ничего не болит. Даже душа не болит — отболела... Скользишь глазами по паутине трещин, зовешь маму — напрасно зовешь...

И еще кто-то рвется в санчасть — поправлять драгоценное здоровье.

Пусть себе идут — может, в лазарет направят... Твоему здоровью уже ничто не грозит, ты уже по ту сторону, тебе ничего не надо — пусть только не трогают. «Не чіпайте, нехай людина доходить...» Какой узор складывается из трещин — просто удивительно... Помнишь, давно — еще в той жизни — ты болела корью, и у тебя от света болели глаза. Днем окна занавешивали, а вечером папа, садясь работать, загораживал от тебя лампу, и углы комнаты погружались в полумрак, а на потолке сгущались и становились таинственнее зеленые пятна затеков от худой крыши. Какие тогда картины, какие сюжеты рисовало воображение!.. Нет, такого сюжета никакая фантазия не могла тебе подсказать. «Жизнь прекрасна и удивительна!» Насчет «прекрасна», Владим Владимыч, можно, конечно, было бы и поспорить, а вот насчет «удивительна» — это уж точно. Даже устаешь удивляться. Ох, как устаешь...

Ну что там им от тебя нужно? «Гарднер, к врачу!» Ты же не записывалась! И вообще, что им от тебя нужно? Все уже, все — понимаете?!

— Тасенька, вставай — ну, постарайся!

— Ну, ладно, Господи! Ладно, иду... Как голова кружится!..



Как необычно выглядит помещение без нар и без короба на окне — и стол, и покрытая белой простыней кушетка, и форточка: Боже мой, открытая форточка!

Худое лобастое лицо поднимается Тасе навстречу:

— Гарднер?

Полуавтоматически, ненавистно-привычно Тася отвечает как положено:

— Анастасия Владимировна, статья пятьдесят восемь, один «а»...

Крутой лоб над большими очками досадливо морщится.

— Садитесь, Анастасия Гарднер. На что жалуетесь?

Тася отталкивается взглядом из всех своих скудных сил:

— Не жалуюсь. Я в санчасть не просилась.

— Ну и совершенно напрасно, — неуставно говорит врач и поднимается из-за стола — высокий, худой, весь какой-то угловато-ломкий. Белый халат нелепо топорщится на широких плечах, вздернутых костылями.

— Я сам вас вызвал. Раздевайтесь.

Вся кровь, сколько ее еще осталось в Тасиных жилах, мучительно приливает к щекам, лицо липко увлажняется потом. Пальцы, поднявшиеся было к пуговкам кофты, застывают: нет, к черту! Это протестует само многократно униженное чужими взглядами Тасино тело. Она опускает руки.

— До пояса, пожалуйста, — роняет врач, отворачиваясь к столу. — Я должен вас послушать.

«Пожалуйста»? Он сказал «пожалуйста»? Разве сохранились еще в человеческой речи такие слова, как «пожалуйста», «простите»?

Тася медленно расстегивает кофточку, вытаскивает руки из довязанных синей шерстью рукавов, спускает плечики пожелтевшей в вошебойках полотняной сорочки, придерживая ее на груди.

— Дышите. Еще. Глубже дышите. Плеврит давно был?

— В прошлом году.

— А раньше легкими болели?

— Нет, — говорит Тася, но тут же вспоминает путевку в санаторий «Маяк» у невиданного Черного моря и бессмысленно добавляет: — то есть, да.

— Прелестно, — сердито говорит врач, — а теперь, значит, в санаторий попали. Скажите «тридцать три». Еще дышите.

Белые, крашенные маслом стены темнеют и медленно поворачиваются. Жесткая рука подхватывает Тасю под локоть.

— Голова закружилась? Сядьте.

Неловко повисая на одном костыле, он наклоняется, чтобы пододвинуть белую табуретку, но привинченная к полу табуретка не поддается, и врач, вполголоса чертыхнувшись, пододвигает к ней обмякшую Тасю. Сухими, длинными, как у папы, пальцами нащупывает Тасин слабенький, частый пульс.

— Прилягте лучше. Вот сюда. Отеки давно появились?

Тася молчит, повернув голову к стене. Опять стена — только белая, ровная, равнодушно отражающая взгляд...

— Почему вы отказываетесь есть? И так ведь в чем душа держится!

— Я ем. Хлеб, — безучастно шелестит губами Тася. Разве можно отказываться от хлеба?



— Вы что — умереть хотите?

Тася молчит. Пустой разговор — зачем жить, если ты в тюрьме по статье пятьдесят восемь один «а»? «Измена Родине гражданским лицом»... А что у тебя оставалось, кроме Родины?

— Послушайте, вам что — все равно, в какой земле лежать? Вот вы умрете — и так и не узнаете, освободили вашу Украину или нет. Вы ведь на Украине родились, да? И вам все равно? Вы ведь даже не знаете, какая трава будет расти на вашей могиле, какие деревья — что тут вообще растет, черт побери! Нет, извините! Я в госпитале три раза валялся, подыхал, но поклялся: не позволю себе помереть на чужой земле! Дома буду лежать, на родном пригорке, под соснами — понимаете? В Комарово, где мои деды лежат, или в Ленинграде, на Серафимовском, где мать похоронили. А вам все равно — ну, дело ваше...

Вернувшись в камеру, Тася ловит взгляд Зинаиды Борисовны, но та ни о чем не спрашивает, и Тася молча ложится на свое место. Она возвращается к той же стене, с той же паутиной трещин, к той же путанице мыслей — только теперь в ней еще жужжат и бьются жестокие слова усталого человека в белом халате...

Назавтра Тасю переводят в лазарет. Она уходит из камеры со смешанным чувством, в котором сама не может разобраться; со смешанным чувством оглядывается в палате, куда ее водворяют. Палата? Та же камера, те же нары, только нет второго яруса — поэтому светлее, хотя на окне такой же короб. Те же нестроганные доски, та же параша, тот же бачок с водой — только лица другие, незнакомые. Одна Матильда — да и та совсем другая, притихшая, с желтым костяным лицом. Даже волосы ее погасли. И надо же — снова, как в Лисках, Тася оказывается рядом с ней.

— Откуда? — спрашивают Тасю. — Пятьдесят восьмая? А-а, тоже Украинский эшелон!

Оказывается, так они все называются — Украинский эшелон. И следователи их — Украинская следственная группа. Это сообщают те, кто уже не раз побывали на допросах. Все следователи — военные; есть молодые, есть постарше, а главный над ними — начальник следственной группы, единственный в штатском — грозный Синий Костюм. Все его боятся: говорят, он ведет самые тяжелые дела.

В лазарете можно лежать и днем, и за это не ругают. Кормят тут чуть лучше, чем в общих камерах; каждый день дают хвойный настой и, кому надо, отвар дубовой коры. Других лекарств почти не дают — какие там лекарства в тюрьме! Зато врач заходит часто. Он здесь недавно, прямо из госпиталя, после тяжелого ранения, и зовут его Петр Осипович Дьячков.

Все, что ей говорят, Тася слушает вполуха — оно плывет мимо, как будто отделенное толстым стеклом, и только последнее, только имя вторгается в сознание как потрясение. Простое, обыкновенное человеческое имя — как оно здесь необыкновенно! Ведь все, окружающие тебя по ту сторону, безымянны. Каждый из них — Гражданин Начальник, часть грозной, непостижимой машины, действия которой необъяснимы и непредсказуемы. И вдруг — Петр Осипович Дьячков!

— Откуда вы знаете?



— Сам сказал.

Сам сказал! Вдруг так захотелось увидеть лицо человека, которого зовут Петр Осипович Дьячков, пусть некрасивое — да-да, совсем некрасивое, — но оно, как окно в серой бетонной стене... Глупая, он ведь с тобой разговаривал, а ты отворачивалась в сторону!

Осторожно, чтобы не потревожить Матильду, Тася умищается на нарах. С минуту поколебавшись, расстилать или не расстилать на досках пыльное, многострадальное пальто, она все-таки скатывает его и кладет под стенку: посидим! Интересно, а как же спят те, кого арестовали летом — совсем на голых досках? У них ведь нет пальто, чтобы подстелить? Сколько заноз загонишь!..

Приносят баланду. Тася ставит на колени тепловатую миску и подносит ложку ко рту...

Обход врача. Тяжело налегая на костыль, он склоняется над Матильдой, понимает ее безучастную птичью лапку, такую сухую, что, кажется, там никакого пульса и быть не может, прислушивается, сжав бледные толстые губы, и качает головой. Фельдшер кротко наливает Матильде какие-то капли, старуха издает слабый протестующий клекот, но капли глотает и снова опускает затылок на узел тряпья. Вялый старческий рот не смыкается над длинными желтыми зубами — кажется, и щеки и зубы из одной желтой кости. Костыль переступает вправо.

— Ну, как ваша новенькая — ест?

— А как же, — отвечает староста.

Костыль переступает еще. Фельдшер зачерпывает хвойный настой и начинает раздачу. Обход продолжается.

Кого-то выписывают, то есть переводят снова в общую камеру, кого-то забирают на допросы. На освободившиеся места приводят новеньких, среди них — «расстрелянная» Татьяна. Татьяна плоха: мечется на нарах, по камере, что-то бормочет, трогает то одно, то другое, перекладывает с места на место и вдруг, спохватываясь, обводит всех зыбким, плавающим взглядом. Кажется, что она и сама может вдруг оторваться от пола и, не подчиняясь силе тяжести, поплыть по камере, как хрупкий мыльный пузырик — такая же непрочная и недолговечная. От этого Тасю охватывает тревожное ощущение нереальности, противоестественности всего происходящего: где же логика, где здравый смысл, если после всего пережитого, после ужасов гестапо эта женщина снова сидит на тюремных нарах?!

В обед приносят прокисшую, пенящуюся баланду: хочешь — ешь, не хочешь — как хочешь! А еще лазарет! Женщины говорят, это не первый раз. Тася привыкшей ложкой отмерять дневной рацион, страшно подумать, СКОЛЬКО ЛОЖЕК МУКИ перевели задаром! Может, даже — сотен ложек!

Вечер приходит раздерганный, беспокойный. Тася долго не может уснуть, когда, наконец, засыпает, сон все равно получается рваный, непрочный. Рядом дергается Матильда; ей, видно, тоже не спится, она всхрапывает, мычит. Тася хочет толкнуть ее в бок, чтобы угомилась, но она сдерживается — жаль старуху.

Утром она просыпается совсем разбитая, словно только-только уснула, что-то неясное заставляет открыть глаза. Подъема еще не было. Она нехотя рас-



правляет онемевшие мышцы и внезапно замирает: цыплячье тело Матильды, все время ощущавшееся под боком дряблым, жидким теплом, как-то затвердело, обрело холодную, неживую плотность, упрямую тяжесть. Тася заглянула старухе в лицо и зашлась беззвучным криком: из-под полуприкрытых век оловянными пуговицами мертво глядели недвижные глаза, уродливо, но значительно зиял открытый рот.

Камера заволновалась; стали колотить в кормушку, призывая дежурного надзирателя, а Тася все сидела, оцепенев, не решаясь выдернуть полу своего пальто из-под того, что недавно было Матильдой Кноблаух, содержавшейся под стражей по обвинению в статье 58, пункт 6, подразумевающей шпионаж. Знала ли Матильда о смерти мужа, или ушла за ним, не зная?

Двое уголовников без труда стащили с нар и положили на носилки до странности уменьшившееся тело, накрыли его рогожей и унесли, но все равно что-то осталось — висело, давило на всех трупным холодом.

Трудно сказать, что это было, но не печаль и не жалость: ведь и в печали, и в жалости есть тепло...

Никто не решался заговорить, только Татьяна вскрикнула:

— Деточки мої, деточки, мої голуб'ятка... — и забормотала что-то невнятное...

А Тася вдруг смертельно затосковала по душной, тесной общей камере, воняющей потом, грязной одеждой, немытыми телами. Там хоть было к кому приклониться, когда уж совсем невомоготу: Зина со своей маленькой улыбкой, трогательной углы губ и оставляющей неулыбчивыми зелеными глазами, Зинаида Борисовна, которая всегда чувствует, когда другому плохо, Елизавета Андреевна, которая так рассказывает о своих детях...

Ну вот, настал и Тасин черед дневалить. Таня-расстрелянная не в счет, надо поворачиваться за двоих — уборка, раздача, мелкая суета — и все-таки это легче, чем сидеть и думать, по сто раз задавая себе одни и те же вопросы, на которые все равно нет ответа.

Баланда в обед опять прокисшая. Блеклая женщина с несусветным именем Иленида — Иленида Асафьевна! — философически замечает:

— Великое дело — прокисла! А квас кислый пьете?

Тася вспоминает остро шибяющие в нос пузырьки — надо же: чего только не было в той, бывшей, жизни!..

Часа через пол после обеда озабоченный надзиратель заглянул в кормушку, быстрым, тревожным оком окинул камеру:

— Навести порядок! Живо!

С какой это стати — в неурочное время? Ведь убирали с утра. Разве что тряпье на нарах сложить поаккуратнее...

Опять дежурный:

— Вы что, бабы, — как неживые?! Чтобы все в ажуре!

— Да что там, начальник?

Не успели испугаться, как загремел замок, и дверь с подобострастным визгом отворилась.



— Встать!

Все торопливо выравниваются вдоль нар. Тася застывает на правом фланге.

— Кто дневальный?

Тася вытягивается, как тростинка, и докладывает по всей форме. Интересно, который из них главнее? Двое приземистых, непостижимо похожих друг на друга круглыми, скуластыми лицами; позади толпится безмолвная свита, последним — хмурый, насупленный Дьячков.

— Жалобы есть?

Тася сглатывает слюну и обреченно отвечает:

— Есть, гражданин начальник (долг дневального, куда ж ты денешься). Баланда в обед была прокисшая. И не только сегодня...

И сразу становится ясно, кто есть кто, кто начальник тюрьмы, а кто его начальник. Первый напряжен и ястребино-зорок: иди знай, чего еще можно ожидать от этой очумелой! Второй, главный начальник, хоть слегка и озадачен, но, видимо, усматривает в происходящем некоторое развлечение:

— Ишь ты какая! Тебе сколько лет? Двадцать есть?

В другое время Тася была бы польщена, что ее принимают за взрослую, но сейчас она честно отвечает:

— Семнадцать.

— И уже в тюрьму попала! Мало, видно, драли тебя в детстве.

Тасино лицо твердеет желваками:

— Меня никогда не били.

— Вот и плохо, что не били. Небось не ленились бы тятка с мамкой, не жалели бы крапивы, не сидела бы здесь сейчас.

Не надо, не надо ему отвечать, уймись, Тася, посчитай до десяти! Но Тасю уже подхватило, уже понесло:

— Из битых, гражданин начальник, только трусы и подлецы вырастают, а меня, слава Богу, не били!

— Ну-ну, — произносит тот с непонятным выражением, — ну-ну, — и круто поворачивает к двери. Кучка сопровождающих послушно следует за ним. Только Дьячков, замыкающий шествие, на секунду задерживается на пороге, чтобы молча оглянуться.

Не успели шаги и голоса отдалиться по коридору, как все разом зашумели:

— Ты что, Анастасия, совсем сбрендила?

— Ты представляешь, что теперь будет?

— Начальник тюрьмы тебя в порошок сотрет!..

Ждать пришлось недолго: стирать Тасю в порошок пришли через каких-нибудь полчаса. Открылась кормушка, и надзиратель выкрикнул:

— Гарднер, с вещами!

— В карцер! — ахнула камера.

— В камеру, — поправил надзиратель, — в карцер без вещей...

Ну, в камеру — это еще куда ни шло, это переживем!

— Ну что, вылечили? — прищурилась навстречу Анна Драчова.

— Вылечили, — сказала Тася и положила вещички на свободное место.



- А как там кормят — хорошо? — встрепнулась Виктория.
- Матильда умерла, — невпопад обронила Тася, опускаясь на нары.
- Царствіе небесне, — перекрестилась Корнеевна. — Та воно вже й тут було блаженке... А барахло поділили?
- Как? — не поняла Тася.
- Ну, барахло, що в неї було, — ви його де діли?
- Никто не трогал. Вместе с ней унесли.
- Ото точно собі заберуть, гади. Та воно канешно — хто ж його віддасть. А там же сорочечка була, якраз на мене. Шовкова!
- А навіщо тобі, бабо, шовкове? — осведомился кто-то.
- Так у йому, кажуть, воші не заводяться. У німців — у їх і в солдатів шовкове було...

Назавтра Тасю затребовали в санчасть.

— Ну, девушка, с вами не соскучишься, — помотал головой Дьячков. — Дернула же вас нелегкая соваться со своим рапортом к Мухитдинову. Вы что думаете — им теперь в лазарет куриный бульон станут носить? Как бы не так!

— Он сам спросил.

— Ну и что? Думаете, нарком в котлы заглядывать станет?

— При чем тут нарком?

В круглых стеклах очков отражаются Тасины глаза, округлившиеся от изумления.

— А с кем, по-вашему, вы дискутировали относительно пользы и вреда телесных наказаний? Ваше счастье, что он благодушно был настроен, а то сидеть бы вам в карцере как пить дать. Впрочем, я выражаюсь фигурально: в карцере у нас не сидят. Скажите еще спасибо, что я там оказался — уговорил начальника заменить карцер общей камерой...

Тася угнетенно молчит: наверное, из-за нее у этого человека неприятности...

Глядя в сторону и словно бы думая о чем-то другом, Дьячков нащупывает Тасин пульс, сверяет его с большими карманными часами и с удовлетворением отмечает:

— Пульс у вас, однако, покрепче стал. Это хорошо. — И, чуть помешкав, неожиданно спрашивает: — Говорят, вы стихи пишете? Правду говорят?

Тася чувствует, как щеки и уши вспыхивают отчаянным огнем:

— Кто говорит?

— Сокамерница ваша, Трифонова Зинаида Борисовна. Знаете такую? Она ведь и на прием ко мне записалась единственно, чтобы о вас рассказать. Правда, сердце у нее действительно больное, но она не за этим пришла.

Словно окунаешься в теплую, ласковую воду; тепло достает до сердца и комом сбивается в горле: вот оно что!

— Так может, прочтете что-нибудь?

Тася молча шевелит губами: ей очень хочется ему почитать, но страшно. А вдруг он подумает, что все это написано только для того, чтобы произвести нужное впечатление? От одной этой мысли становится вдруг невыносимо тошно.

— Петр Осипович, — говорит она, не замечая, что нарушает тюремные пра-

вила, — Петр Осипович, не сердитесь, я вам обязательно почитаю — сколько захотите, только не сейчас, не теперь. Вот когда меня уже засудят или оправдают... Чтобы вы не подумали... Я обязательно почитаю.

Человек в белом халате долго, внимательно смотрит на нее сквозь толстые очки, потом кивает, словно ставя точку:

— Хорошо. Договорились.

Тася с облегчением вздыхает и поднимается с белой табуретки. Он останавливает ее жестом:

— Да, еще одно: я просил начальника следственной группы ускорить вам следствие по состоянию здоровья.

Господи, где они, необходимые слова?..

Вот, наконец, и этот день: их выводят в слепящее солнечное сияние — Зину, Корнеевну, Дашу, синеглазую учительницу-молдаванку — и Тасю! Их ведут чисто выметенным тюремным двором, мимо аккуратных зеленых газонов — за ворота, на улицу! По обе стороны шелестят старые тополя, ноздри щекочут забытые запахи. Тася с жадностью оглядывается по сторонам: воробьи купаются в пыли, на тополь садится не то ворона, не то галка. Проклятая близорукость! Хочется вобрать в себя все, в мельчайших подробностях: траву, тополя, воробьев, ворону, даже дорожную пыль — чтобы потом, как скупой рыцарь, перебирать в памяти свои сокровища! Хочется плакать от нежности, глядя, как носатая ворона чистит лапой крепкий клюв... Стыдно — кажется, никогда не была плаксивой... Тася украдкой оглядывается на своих товарок, на безликих мужчин, топающих позади: женщины вертят головами, озираются, мужчины сосредоточенно смотрят под ноги — может, окурок...

Глупые ноги, отвыкшие от ходьбы, тяжело чевгают рванными бурками, такими несуразными в июньскую теплынь...

Дворик КПЗ — обыкновенный, выбитый, вытоптаный дворик, и лестница — обыкновенная, без металлической сетки, без звона решеток и замков, с обыкновенными перилами. Надзиратель — обыкновенный немолодой мужик — отпирает камеру; в камере уже есть две женщины — обыкновенные, замученные жизнью, женщины — может, местные?

Нары вдоль правой стены — в один только ряд, поэтому в камере светло, хотя окно и забрано коробом. И еще: доски на нарах тесаные, не шершавые...

Голова кружится — то ли от слабости, то ли от новизны, то ли от воздуха, которым надышалась по дороге...

Тася опускается на нары и бережно прислушивается к себе: где-то глубоко, чуть слышно бьется слабенький родничок надежды...

Лязгнули засовы и замки, дверь распахнулась, и дежурный надзиратель впустил в камеру невысокую сероглазую женщину. Рыжеватые брови, платочек в крапущку — все еще необъяснимо белый. И как она его тут стирает?

— Иди, отдыхай, — сказал надзиратель на удивление мирно, по-домашнему.

Ты смотри, какие они тут, в КПЗ! Не то что в тюрьме. Интересно, они тут все такие?



Осторожно, словно боясь разбудить кого-то, женщина присела на нары, обвела камеру глазами:

— Новенькі, бач. Ач, скільки вас привели!.. На допроси ма'ать... А мої вже скінчилися. Тепер, каже, сиди, дожидай. Авжеж, не побіжу...

И усмехнулась — неясно так, смутно — тень улыбки, и только.

Вздыхнула, развязала платочек, расстелила на коленях, вынула гребень из косы. Рыжеватые волосы упали на плечи, тяжелыми, словно влажными прядями потекли по плечам, растеклись по спине.

— Не остригли, бач, — с завистью обронила Корнеевна, тряхнув короткими кудряшками.

— Та ні, не остригли, спасибі їм, — откликнулась и тихо, сосредоточенно, будто что-то очень важное, начала расчесывать блестящие меднотекучие волны.

— А за що тебе? — не унималась Корнеевна. — П'ятдесят восьма, еге ж? Ти ж із нашого ешелону, не тутешня?

— Не тутешня, — эхом отозвалась женщина. — Валківські ми. Валки знаєте? На Харківщині?

— Та знаємо, чули. Так за що тебе?

— Та п'ятдесят восьма ж — за содействіє, кажуть. Бач, двоє синів на фронті, чоловік без вісті пропав, а я, значиться, німцям помагала! Ну, правда, жили в нас німці — так вони ж, було, скрізь по хатах стояли. У нас іще хата справна була: двоє ж синів піросло — тож не хотілося, щоб у прийоми йшли. Ну, старший таки привів жінку, а меншенький — куди йому, пацан іще був. Сім класів одходив, на якісь там курси пішов — аж тут війна...

Тася не прислушивается. У каждого своя жизнь, своя беда. Это уж теперь, может, одна будет у всех дорога — так это, если осудят, а так зачем, спрашивается, чужую боль ворошить, чужие раны пальцами растрavляют? Это все Корнеевна — ей до всего дело! Чужую вину со своей равняет — чья больше. А своя, говорят, ох и тяжкая — партизан, говорят, выдавала.

— Ото ж, кажу, повечеряли, — вторгается в Тасины мысли гибкий, текучий голос, — тільки онучечку приспала — невістка, бач, до своїх пішла, їй там рідніше. Дочку бабі підкинула, а баба й рада: тільки й того сонця, що у віконці!.. Отож, кажу, приспала онучечку, двері на заціпку взяла і вже, думаю, сама ляжу, щоб каганець не палити, коли чую — хтось стука. Ой, Боже ж мій, думаю, кого ж там принесло? У таку пору добрі люди не ходять. Відчинила — а воно місячно було — стоїть хлоп'я на порозі, годів вісімнадцять од сили. Очі чорні, як сливи, щоки геть чисто морозом побиті, і до того воно змерзло, бідолашне, — губами не поворухне. Шинелька на ньому блаґенька, а поверх шинельки усяке дрантя понамотувано. Стоїть і плаче.

Впустила до хати, а воно й не просить нічого, як ото німці: «шпек, брот» чи там «матка, курка, яйки!» Не знає, видно. Аж тоді вже спромігся: «Мамо!», каже. По-нашому! Тільки ото — «Мамо!» Ой, лишенько, мені аж серце зайшлося — наче мій меншенький сказав!..

— Так то й по-їхньому мати — «мама», — отозвался кто-то кругленьким полтавским «а».

Смотри-ка, значит, тут и полтавчане есть!



— Мабуть таки, в усіх мовах «мати» — «мама», — проговорила полтавчанка, и вдруг, ни с того ни с сего, такой щемящей болью откликнулось: не было у тебе мамы, Тася, не было, нет, и нікому нікогда ты не скажеш «мама, мамочка!».

— Притулилося до печі — а піч іще тепла була — труситься, аж сине, і не каже нічого, тільки дивиться на мене отими сливами своїми, а сльози так і котяться. І таке воно, знаєте, вонюче, ой, лелечко!

Підложила трісочок, нагріла води, ночви унесла. Роздягайся, кажу, а воно не розуміє. Мотає головою, стидається і плаче. І де тільки в людини стільки сліз береться! Роздягла його, як дитину, у ночви посадила, а воно ж, бідне, все обісране! Чи то з голоду, чи мо' здихотини якої дорогою наїлося? Одежина вся обкаляна, од вошей аж ворухиться — ну, що ти з ним робитимеш, лихо та годі! Сидить у ночвах — худеньке, самі кісточки, як те курча... Я його мию, обмилочок вже не пошкодувала, а він мої руки мокрі, намілені ловить, цілує — і одно тільки: «Мамо, мамо!»

Я ту одєжу у сінці винесла, щоб воші не порозбігалися — хай, думаю, тоді вже щолоку спущу, виперу... А його ж у що вдіти — не голий же сидітиме, поки виперу та висушу? То ж синову одєжу дістала і тут уже й сама заплакала. Одне те, що одєжини жалько — як прийде синок, що вдіне? А друге — та чи прийде ж моє сонечко? Чи живий?... Ну то хай — може, й мого чия мати пожаліє...

Тільки став удіваться — зблід, аж потім чоло зарясніло — і мерщій до дверей. Наздогнала, козушину накинула — мороз же! Отак цілий вечір і ніч усю бігав. Я вже йому шкоринку з кавуна заварила, і спориш-травку, напоїла, нагодувала — куліш у мене був. Заснув, бідолаха, а я ще із тим щолоком колотилася поки й доки...

Устав раненько, кинувся по одєжу, а вона ж мокра, не висохла. Розгубився, белькоче щось по-своєму, а я йому кажу: та куди ж ти, дитинко, підеш? Он як тебе «швидка настя» вимучила — упадеш десь дорогою, і сніг тебе занесе. Оклигаєш трошки, тоді підеш. А він мені показує, що мені пах-пах буде — мовляв, німці мене через нього розстріляють. Ну, та чи дізнаються німці, чи ні, а ти ж, кажу, дорогою пропадеш. Та де там! Він мене не розуміє, я його не второпаю — біда та й годі!

Я йому ту одєжу мокру згорнула, щоб із собою взяв, а він мота головою: ні, ні, не треба! Та й то так: де він її сушитиме?..

Пішов. Я йому ще лижі дала, білі, маскировошні — німці, як виїжджали, аж дві пари покинули — саме тоді відлига була, розвезло скрізь... Узяв — тільки де там йому із тими лижами упоратись, він, мабуть, і снігу того зроду не бачив у своїй Італії. Десь, мабуть, дорогою кинув...

Уранці невістка забігла, а мала їй і каже: «А в нас дядя був, плакав — так баба йому, щоб не плакав, Сашкові штани дала».

Який-такий дядя?

Ну, я їй усе як на духу. А вона як почула за одєжу — аж пополотніла. Я, каже, скільки вам казала: мамо, дайте мені, я на сало зміню або спідницю собі пошю. А ви мені що? «Може, ще прийде Сашко. Буває, вертаються...» Ти, мовляв, іще голим задом не світиш, обійдешся! Невістці зажалкували, а кому дали? Не хай чужому солдатіві буде, бо невістка, бач, чужа кістка!..

— Та воно канешно, — как-то невразумительно заметила Корнеевна.

Тася так и не поняла, кому она сочувствует.

— А тоді Савка прийшов, поліцей наш, валківський. «А хто це, — питається, — тітко Наталко, у вас ночував?» Та хтозна, кажу, солдат якийсь. «А ви хіба не знаєте, що скрізь накази порозвішувано, щоб отих макаронників до хати не пускали і їсти не давали? А ви ще й одержу, люди кажуть, дали!»

А откудова, кажу, я знаю, чи він германець, чи італьянець? Белькоче не по-нашому і гвинтівка в нього... «Не придурійтесь, каже, тітко, яка там гвинтівка! То в наших «образца затьортого, дроб тридцятото», а в їх карабіни».

Я там знаю, карабін чи автомат — одне слово, те, що стріляє! А як на мене, в кого батіг, той і пан. «Авжеж, так я вам і повірив! Може, ви ту одержу йому дали, щоб він од німців ховався — це ж іще як подивитись!» А ти, кажу, Савко, по-людському подивись, по-людському, як тобі совість підкаже. «А шапки, каже, дасте — отієї, що Сашко перед війною купив? А то мені маківка мерзне і вуха як не повідпадають».

Довелось-таки віддати, бо то такий, ще чого доброго! Ну, та не доніс, бач...

— А наші ж за що взяли?

— Та й наші за те. Вона ж, Варка, і виказала. Не замирилася, бач: штани таки добрячі були, та й спідне ще нічогеньке... Мені оце сьогодні слідователь показав: каже, раз слідствіє закінчено, ви вже зізналися, то маєте право прочитати, що в нас тут є на вас. Прочитала, підписала — що було, те було, що ж поробиш...

А тоді він, слідователь же мій, питається: «А от якби на той час не німці, а наші були, і прийшов до вас отой солдат — щоб ви зробили? Виказали б?» А я йому кажу: «Та хто ж його знає. Доразу, мабуть, ні — щоб згарячу не стрелили. А тоді вже, через врем'я, канешно. Та він, мабуть, і сам би пішов, сказався».

Він аж підскочив: «Та чи ви, Панченкова Наталя Гнатівна, ненормальна? У тюрмі сидите, п'ятдесят восьма стаття вам шиється, я — ваш слідователь, і ви мені отаке?! Ворога од своїх переховувати?» А я йому: «Йой, Боже, який він там ворог — дитя! Воно ще, мабуть, окрім мами, й не цілувало нікого. Та й у ворога, гражданін слідователь, мати є».

— А він же що? — не унімається Корнеевна.

— Та нічого. Рукою махнув. Ладно, каже, то я так спитав — не для протоколу...

Женщина укладывает косу, не спеша складывает платочек, глядя серыми глазами куда-то мимо Корнеевны, мимо Таси — и что они там видят, эти серые глаза?

— Чудасія, — говорит Корнеевна и достает припрятанную корочку.

А ты, Тася? Что ты скажешь, Тася? А вы, люди, — каждый из вас?

Порядки в КПЗ совсем иные — как-то тут вольготнее. Или это просто кажется, потому что ждешь, ждешь, ждешь перемен?

После обеда в камеру заглядывает следователь — молодой, высокий, с крутой русской волной над высоким лбом:

— Гарднер!

Тася с готовностью поднимается. Как ей повезло! Этот должен быть хорошим,

он поймет, он во всем разберется! У него ясное лицо здорового, счастливого человека.

Следователь ведет ее по коридору, и слова, которые он роняет по дороге: «Пойдемте... сюда... направо...» — обыкновенные, человеческие слова, — вселяют в Тасю робкую, но упрямую радость: все будет хорошо, вот увидишь!

В неудобной, как пустой класс, обшарпанной комнате три стола. Стол справа уже занят. Сердитый следователь с резкими складками от крыльев носа к углам недовольного рта допрашивает мелкого, сгорбленного мужичонку. Левую руку он засунул под ремень и покачивается, словно у него болит живот — может, и правда болит? Нет, решает Тася: ей таки повезло!

Тасин следователь раскладывает бумаги на столе у окна, ловко скользя ладонями по ремню, оправляет складки гимнастерки и жестом приглашает садиться:

— Старший лейтенант Павлов. Я буду вести ваше дело.

Тася согласно кивнула — и все покатилося по накатанной дорожке, все сначала: где и когда родилась, кто родители, чем занимались... Следователь играет карандашиком, Тася следит за его руками и не следит за вопросами. На вопросы отвечает как-то само собой — не в первый раз... Когда старший лейтенант повторяется, Тася вспоминает Веню Каратаева и мысленно усмехается: ну на чем можно поймать человека, если он не врет?

Зачем-то вдруг ему понадобилось знать, отчего разошлись папа с мамой. Это так неприятно, так не хочется говорить, что папа был намного старше, что мама полюбила другого, что у нее была другая семья, другие дети и что Тасю она совсем не знала и, может, совсем не любила. Правда, ей приятно было похвалиться соседкам, что девочка поет, что учится на все пятерки, что пишет стихи и танцует. Ей было приятно, когда соседка Бэлла Михайловна, элегантно откинув руку с папиросой в длинном янтарном мундштуке, хвалила медовый тембр Тасино го голоса, восхищалась текучей пластикой худенького тела, говорила еще какие-то изысканно-красивые слова; а Тася думала об одном: вот если бы они с мамой были сейчас одни, и больше никого, и мама просто посадила бы ее рядом с собой, обняла за плечи и, может быть, сказала бы ей хоть одно, хоть какое-нибудь из тех ласковых слов, которые она так щедро говорила тем, новым, любимым детям...

Но все это — ее, Тасина боль, и никому другому до нее нет дела. А если уж ему, этому следователю, интересно, она вовсе не обязана знать; родители ее не посвящали в мотивы своих поступков. А теперь, когда папа умер, а мама, по всей вероятности, погибла в эшелоне под бомбежкой, никто уже не может внести ясность в этот вопрос. Следователь сердито тряхнул волнистым чубом:

— О такой матери нечего жалеть!

И тут Тасю подбросила обида прошлых лет:

— Не смейте, — взвилась она, — слышите, не смейте! Это мое право — судить или прощать, а вы не смейте! Обо мне можете говорить, что хотите, а маму не троньте!

Ей казалось, что она кричит, но ни лысоватый следователь за столом справа, ни сутулый подследственный мужичонка даже не обернулись в ее сторону — должно быть, кричало у нее внутри. Старший лейтенант Павлов тяжело — пятна-



ми — потемнел лицом, но сдержался и задал следующий вопрос аккуратным, бесцветным голосом. Тася ответила — аккуратно и бесцветно...

На следующий день следователь пришел за Тасей озабоченный, какой-то смутный. Вопросы задавал, глядя в бумаги, словно читал с листа — а может, так оно и было? Расспрашивал об оккупации — как жили, чем жили, отчего умер отец. Услышав Тасино «от голода», дернулся, в первый раз поднял глаза:

— Как — «от голода»?

— Как все, — устало ответила Тася и пояснила как. Больше он глаз не опускал.

Похрустывая чисто вымытыми пальцами, он следил за ее лицом, как глухонемой, словно в уме переводил ее рассказ на какой-то другой, более доступный его пониманию язык; изредка что-то переспрашивал, как будто, спохватившись, вспоминал, что это все-таки допрос — и снова слушал, слушал, слушал...

Назавтра он за Тасей не пришел. Полдня она прождала как на иголках, вскидываясь каждый раз, когда в коридоре раздавались шаги. И вдруг, как гром с ясного неба, сногшибательная новость: Тасин следователь отказался вести ее дело!

Вернулась с допроса Корнеевна возбужденная, раскрасневшаяся и прямо с порога, едва за ней закрылась дверь, выпалила:

— Чуєш, Анастасія, одказався од тебе твій лейтенант! Кажє, забєрїть її од мєнє. Хоч кого дайте — а оцю забєрїть! Прийшов до Синього — а вони ж мєнє удвох сьогодні питали: мій та Синій — і кажє: ослобонїть мєнє, не можу я її допрашувать. Той йому кажє: ти що, Альоша...

А Тася и не знала, что его так зовут!

— ... а він йому одно: от, кажє, мій рапорт, ослобонїть, кажє, дуже вас прошу, бо я не можу. Аж п'ятнами увесь пішов. Тоді Синій на мєнє рукою — мовляв, увєдїть її — то я вже не знаю, до чого вони там договорились. І чим ти його, Таська, так допекла — такого ще, мабуть, і не бувало!..

Корнеевна так захвачена сенсационностью своего сообщения, что, кажется, забывает о собственных делах. Когда ее спрашивают, она отмахивается почти весело:

— А-а, так погнали ж!..

А Тася растерянно озирается, встречая взгляды и вопросы.

Почему вдруг он отказался? Из следственной группы — из тех, кого Тася уже видела, — он самый хороший, самый молодой, красивый — и не усталый. Усталые, они все или равнодушны, или раздражены, а этот как будто от себя спрашивает, сам интересуется — это только поначалу он был как все. За что же он от тебя отказался? В чем ты провинилась, Тася?

Корнеевну снова уведат, и Тася невольно сравнивает пришедшего за ней следователя со своим. Бывшим своим... Никакого сравнения!..

Возвращают Корнеевну нескоро. Из-под платка топорщатся растрепанные кудряшки, под глазом зреет синяк. Плачущая, она похожа на обезьянку в платоч-

ке — уголками его она утирает глаза и щербатый рот, и жалко ее, маленькую, ужасно. Камера обмирает: из них никого не били.

— Господи, это кто же тебя, Корнеевна? За что?

— Та мій же — хто ж іще!

Она говорит о следователе «мій» — как о муже, который напился и вот — побил: дело житейское!

— Ти, каже, партизан повиказувала. А як же ти його не викажеш, коли за кожного корову давали? — жалобно говорит Корнеевна.

— Ясное дело — разве ж можно устоять! — ледяным осколком роняет Даша.

Принимая ее слова за сочувствие, Корнеевна всем телом благодарно подает к ней, молитвенно прижимая кулачки к груди:

— Так ті ж гади обдурили, тільки три корови дали: дві корови й теличку, — истово жалуется она на горькую несправедливость.

— А сколько должны были? — деловито осведомляется Даша.

— Та їх дев'ятеро повісили, — отвечает Корнеевна простодушно.

— Скривдили манюню!..

— Мало ей дали! — вне себя кричит Нюрка-беленькая. — Да тебя, подлюку, саму надо было повесить!

— Та хто ж знав, що їх вішатимуть, — защищается заплаканная обезьянка. — Я ж думала, поб'ють, а мо' корів їхніх одберуть...

Неотвратимо, жутко в камеру вползает смерть: тени девятиерых повешенных висаюот над кучкой женщин, над жалкой обезьянкой...

— Блаженни нищие духом, ибо не ведают, что творят.. Ибо не ведают, что творят, — бормочет Зинаида Борисовна, прижимая к щеке судорожно сжатый кулак...

Под вечер в камеру входит дежурный надзиратель, окидывает всех взглядом и тычет пальцем в Тасю:

— Ты! Выходи.

— С вещами? — холодеет Тася, но тут же успокаивает себя: фамилии ведь не называл!..

Надзиратель не спеша замыкает камеру большими тяжелыми ключами и совсем не служебно говорит:

— Айда со мной!

И ведет Тасю вниз по лестнице, на первый этаж, отпирает какую-то каморку, где стоят ведра, метлы и всякий хозяйственный хлам, и легко командует:

— Бери ведра, по воду пойдем.

Тася боится поверить своему счастью: он выводит ее во двор, но не к воротам, а к боковой калиточке — Тася ее и не заметила сначала. Ключ поворачивается в замке, калитка открывается и — Боже ж ты мой! — Тася выходит на улицу, к водоразборной колонке. Колонка обыкновенная, с ручкой-насосом — не тюремная, вольная колонка, для всех!

Мимо неторопливо течет вечерняя улица — где-то смеются девушки, бредет усталая женщина, бормоча, проходит старик... Надзиратель медленно сворачивает сигарку, не спеша раскуривает, затягивается, задумчиво глядя на прохожих.

Надежно заслоненная его широкой спиной, Тася качает насос бесстыдно медленно, наслаждаясь звуками, запахами, красками... Спасибо тебе, добрый человек, за этот бесценный подарок! Никогда, честное слово, никогда не замечала Тася, что у колодезной воды есть запах — особенный, тонкий, не сравнимый с запахом реки, чистый и прохладный запах...

Докурив сигарку, надзиратель методически затаптывает крошечный окурочек, растирает его ногой и поворачивается к Тасе:

— Айда, что ли.

Переполненная благодарностью, Тася поднимает тяжелые ведра. С непривычки ее пошатывает, надзиратель неодобрительно хмыкает — дай-кось! — и отливает из каждого ведра в кусты:

— Если что, вдругорядь сходим.

И тут Тася начинает плакать. Блаженные слезы благодарности плывут по щекам без всхлипов, тихо, но неудержимо.

— Будет, ну будет, ты че? — бормочет надзиратель, и Тася улыбается сквозь слезы: нет-нет, я ничего!

Он дает ей тряпку и велит мыть лестницу со второго этажа на первый. Тася шлепает тряпкой, сгоняя воду со ступеньки на ступеньку, а сладкие слезы все катятся и катятся, и кажется, что одними этими слезами можно вымыть всю лестницу и весь коридор.

Девочка долго, любовно трет порожки, пока надзиратель не выглядывает из дежурки, маня ее коричневым заскорузлым пальцем: поди-кось!

Тася нерешительно входит в тесную дежурку, а ее благодетель протягивает ей деревянную миску, полную густой затирухи: на, поешь — голодная, поди.

Ну что ты будешь делать с этими слезами — опять бегут, мешаясь с затиркой!

— Да будет тебе, девка, — совсем не по уставу говорит надзиратель, — ты че уж прям как худое ведро! КПЗ — это ж еще не конец света! Авось обойдется. Ну, давай — подъела маленько — и с Богом! Айда, отведу тебя в камеру.

— Спасибо вам, — шепчет Тася.

— Ну, вот еще, — говорит надзиратель ворчливо и подталкивает ее к дверям. — У меня у самого такая дуреха растет.

...В выходной следственная группа не работает — только Синий Костюм иногда приходит и сидит у себя в кабинете.

А для Таси этот пустой день полон тревог: что же теперь будет? Вдруг о ней опять надолго забудут? Вдруг ее дело возьмет себе сам Синий Костюм, раз Алеша от нее отказался? Ни посоветоваться, ни поделиться не с кем. Зина пожимает плечами — ну что она скажет? У нее своя печаль, своя забота. Перед самой войной Зина вышла замуж — вышла за своего одноклассника, жившего по соседству. С Юрой они дружили еще с восьмого класса, дружили спокойно, ясно, потому что он ушел в армию, потом демобилизовался.

Учился и работал, и Зина училась. Потом поженились, все еще стесняясь друг друга, робея и стыдясь в минуты близости. И вдруг — война. Юру сразу призвали. Зина провожала его растерянная, испуганная, он чмокнул ее в нос и сказал, что к началу учебного года вернется. Пришло от него два письма — потом писем



не стало. Потом пришли немцы. К ним на квартиру стал молодой парень, студент из Дрездена. Мартин Венер был чем-то похож на Юру: нежным сиреневатым румянцем на узком лице, длинными ресницами и притворной суровостью застенчивого человека.

Он отдавал Зининой маме свой паек, называл ее мутти¹ и старался занимать в доме как можно меньше места. Большой Юрин портрет стоял у Зины на столе; Мартин не преминул показать хозяйкам фотографию своей Анхен, смешливой блондинки с крупноватым носом и высокой прической «а-ля Марика Рокк» — однако это не мешало ему поглядывать на Зину грустными влюбленными глазами. Был он на полтора года моложе, высок и худощав, как Юра, и, глядя на него, странно было думать, что это враг.

Однажды он принес два листа железа и установил в доме чумазую «буржуйку», раздобыл где-то дров, напиллил и наколол их надолго впрок, и, когда он заносил в комнату смолистые, духовитые поленья, с грохотом роняя их на пол, вид у него был совсем домашний.

Потом их часть куда-то перевели. На прощание Мартин, печальный и серьезный, смущаясь, подарил Зине фотографию, где он, совсем еще юный мальчик с аккуратным пробором, старательно прижимал к плечу крутобокую скрипку нежным, еще не знавшим бритвы подбородком. На обороте он грустно написал «In Friedens zeit»² — и свой дрезденский адрес, что, в общем, было уже совсем ни к чему. Когда он ушел, Зинина мама сказала: «Хороший парень. Такие мальчики не должны воевать. Это противоестественно».

Надпись Зина вымарала тушью, бог весть как сохранившейся с до-войны, а фотографию вклеила в альбом среди одноклассников.

Потом Зина с мамой устроились судомойками на немецкую кухню; это спасало от голода. Собирали объедки с тарелок, переваривали, подкармливали родню.

Потом наконец пришли наши — и было три недели головокружительного полуголодного счастья, тревог и надежд. И — все. Эшелон...

Даша проходила по двум статьям: пятьдесят восемь, один «а» и пятьдесят восемь, пункт 6 — над Дашей висело страшное слово «переводчица». Почему «переводчица» хуже, чем «полицай», трудно сказать. Может быть, потому, что оно само по себе подразумевает предосудительную образованность, а «полицай», наоборот, как правило, предполагает умиленную тупость? Другого объяснения Тася найти не могла. Ну, что такое переводчик? Тень! Тень чужой речи, чужой мысли, чужих слов — в обязанности переводчика не входят поступки! Поступки — это уже от тебя, от человеческой сущности твоей. Вот, например, Даша из случайно услышанных обрывков разговора поняла, что немцы, в случае отсутствия, уничтожат мастерские вместе с рабочими. Побежала, предупредила — никто из рабочих не погиб. Это был поступок. Но поступки не всегда удавались, они так или иначе были связаны с риском — это ведь не только у переводчиков...

¹ Мама (нем.)

² В мирное время (нем.)

Переводчицей Дашу устроила старая учительница немецкого языка, «эх-те фольксдойчерин» — хромая, с тяжелым ортопедическим ботинком, строгая старуха. При своей хромоте и маленьком росте она все равно умудрялась смотреть на всех свысока, но Дашу выделяла за быстрый ум и точное чувство слова. Думала ли она, что Даша так за это поплатится?

Удивительно, что в КПЗ молчунья Даша вдруг приоткрылась — или это потому, что в гуще людей легче оставаться отшельником, меньше соблазн с кем-то поделиться? А сдержанная ее надменность — это, наверное, единственное средство самозащиты при такой ослепительной красоте: она просто не может иначе. Как там поется:

«Живет моя отрада в высоком терему,
И в терем тот высокий нет хода никому...»

— Интересно, с чего это наша Тася в цыганщину ударилась?

Тьфу ты, Господи, — она и не заметила, что вслух...

В дверь заглядывает дежурный:

— Пойте, девки, пойте — все лучше, чем реветь. Пока начальства нету, можно. Только не шибко.

Эх, была — не была! И Тася запевает, прищелкивая пальцами:

«Була собі Маруся,
Полюбила Петруся...»

И Даша — может, впервые позволяя себе улыбнуться, — лукаво подпевает:

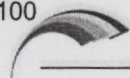
«Ой лихо не Петрусь —
Біле личко, чорний вус!..»

Почему-то вдали от дома так тянет на украинские песни — потому ли, что так легко подстраиваясь, ложатся на привычную мелодию голоса, потому ли, что тоскует глаз по белым хатам с рыжими призьбами, по мальвам и «чорнобривцям», по шумным тополям, свечками стоящим вдоль дорог, по ветрякам, медленно, со скрипом, вращающим распахнутые крылья, по аистам-черногозам, сухо трещащим клювами в лохматых гнездах на крышах клунь? И кто это первый придумал — водрузить на крышу тележное колесо, чтобы гнездились на нем длинноногие залетные гости? А кучерявые садки, где вечерами проносятся с гудением стремительные хрущи, жужжащей пулей с лета ударяющие в лоб... А летучие мыши-кажаны, бесшумными тенями скрадывающие месяц... А золотые древесные жабки, поющие, как сверчки... А прозрачные сизые шары перекаати-поля на выго-не, настоящном на стрекоте кузнечиков, на запахах полыни и чабреца!..

Разве можно рассказать, что такое Украина, и почему каждый раз, что бы ни запели, все сводится к тому же:

«Повій, вітре, на Країну?...»

И снова вспоминается военврач Дьячков с его жестокими словами...



Приходит из тюрьмы пополнение — жиденький этапчик, и в нем Зинаида Борисовна и Елизавета Андреевна. Вот кто споет!

Зинаида Борисовна критически смотрит на Тасины грязные босые ноги и рваные бурки, стоящие отдельно от ног. Вообще-то, конечно, июль — не сезон для бурок.

— Знаешь что, — говорит она деловито, — давай тебе тапочки сошьем!

Легко сказать — а из чего?

— Можно попробовать бурки распороть. До зимы еще далеко, кто знает, что с нами до зимы будет. В крайнем случае — они во сколько слоев стеганы? Вчетверо? По одному слою снимем — авось хватит. А там заново простегаем.

Адова работа — распарывать бурки. Но успокоительно. И вдруг, в самый разгар ее — Тася едва успевает спрятать орудие производства — в камеру входит чернявый круглолицый офицер и выкликает:

— Кто тут Гарднер?

Тася поднимается — что же на ноги? — и босая нерешительно направляется к двери. Зина швыряет ей вдогонку свои туфли, Тася вступает в них, ощущая всю несовместимость чужой обуви и родных ног, и идет за своим новым хозяином. В дверях он пропускает ее вперед и командует:

— Направо!

На этот раз ее допрашивают совсем в другом кабинете. Тут светло, и стол — большой и солидный, совсем не похожий на хлипкий, обшарпанный столик, за которым ее допрашивал Павлов. Стол стоит спиной к окну. Здесь два табурета: один у самого стола, а другой посреди комнаты, метра за два, а то и больше.

Тася направляется к столу, но следователь указывает ей на тот, идиотски торчащий посредине. Какого черта! Ведь на таком расстоянии не рассмотреть его лица — тем более, что оно в тени! Это так плохо — разговаривать, не различая глаз собеседника! Сразу становится неудобно.

— Капитан Белый, — представляется ей следователь.

Уж больше бы ему подошло «капитан Черный»! Редкие жирные волосы, и брови у него черные как смоль, черты лица правильные, но незначительные. Вообще интересно: они свою настоящую фамилию называют или это у них вроде псевдонима?

Капитан начинает резко и неприятно:

— Ну, так что — будешь меня байками тешить или начнешь правду говорить?

— Прошу говорить мне «вы», — нахохливается Тася.

— Твое дело просить, мое дело — поступать, как считаю нужным. Так вот, я спрашиваю: будешь меня байками тешить или начнешь правду говорить?

— Я правду говорю, — хмурится Тася. — Врать не обучена.

— Чему ты обучена, мы знаем. За то и сидишь.

Тася пропускает эту реплику без ответа.

— Все эти басни про папу и про маму мы уже слышали. Надумашь сказать правду, мы к этому вернемся. Говори сразу: когда поступила в шпионскую школу? Кто тебя завербовал?

У Таси холодеет спина и под языком появляется кислый привкус меди. Это еще что такое?



— Какую школу?

— Не строй из себя дурочку. Нам все известно. Будешь запираяться — себе только будешь вредить. Кто тебя завербовал?

— Так вам же все известно, — взрывается Тася, — что же вы спрашиваете?!

— А нам важно, сознаешься ты или нет, раскаялась или так и остаешься врагом.

— Никто меня не вербовал, и ни в какой школе я не была.

— Ну как же — а в Богодухове?

— Да я сроду Богодухове не была, что за фантазия такая? Знаю только, что вроде бы от Богодухова немцы контрнаступление начали.

— Ага, припомнила?

— Так это все говорили.

— Ну да, ну да — и, наступая, забросили вас с целью шпионажа?

— Да я все это время в госпитале работала — это любой может подтвердить.

— Ага, тебя, значит, в госпиталь забросили? И какая у тебя была задача?

— Да меня райком в госпиталь направил!

— Какой еще райком в прифронтовой полосе? Ты мне дурочку не валяй!

— Сталинский райком, на Фейербаха одиннадцать.

— В городе Богодухове?

— Да в Харькове же, в Харькове! В Богодухове я не была никогда!

— До школы не была.

— Никогда не была, ни-ког-да! С первых дней освобождения в госпитале!

— Ну, от Богодухова до Харькова рукой подать. Так, значит, заслали тебя в госпиталь?

— Я сама в райком пришла, сама в госпиталь попросилась! Райком на Фейербаха, а госпиталь — на Дворянской, на Кропоткинской, то есть. Это через площадь перейти — и в переулок. И до конца я была в госпитале, до двенадцатого марта — двенадцатого марта партию раненых вывезла в Волчанск. Это, наверное, последний транспорт был, больше, наверное, после меня никто не прорвался. Там справка есть. Должна быть — у вас.

— Есть такая. Филькина грамота. И опять неувязочка. Харьков одиннадцатого марта сдали, а ты говоришь — двенадцатого выехала. Неувязочка!

— Двенадцатого в центре немцев не было. Может, на окраине где — а в центре не было.

— А это нам проверить — раз плюнуть. Харьков давно уже наш.

Целая гора — Монблан, Эверест — сваливается с Тасиных плеч. Харьков наш! За эти слова она все готова простить этому капитану!

— Так если Харьков наш, вы же можете послать запрос.

— И пошлем, не сомневайся!

— Вы всех соседей моих можете спросить!

— Найдем, кого спрашивать. Ты нам не указ.

И вдруг быстро:

— Подойди сюда. Вот это чья подпись? Чья рука?

И показывает Тасе краешек какой-то бумажки, прикрыв остальное так, что видна только неразборчивая подпись лиловыми чернилами.

— Не знаю, — растерянно говорит Тася.

— Как не знаешь? Если то, что ты говоришь, правда, так должна бы знать.

— Не знаю, — повторяет Тася потерянно.

— Подумай. На вот, подпиши — и подумай на досуге.

Тася пробегает глазами протокол, подписывает каждый лист и встает, заплетаясь в Зининых туфлях...

Бурки уже распороты. Два куска грубого шинельного сукна смочены водой и аккуратно разглажены энергичными ладошками Зинаиды Борисовны.

— А ну-ка стань!

Тася становится на сукно босой ногой, и, как когда-то в детстве мама ручонку с растопыренными пальцами, Зинаида Борисовна обводит ее ступню отковыранным под нарами кусочком штукатурки:

— Ну вот, это подошва. Вырезай.

Заслуженная железка-ножичек не очень бойко справляется с семисезонным солдатским шинельным сукном. На пальцах вспухают водянки, но цель ясна — требуется только время да упорство.

Тем временем Зинаида Борисовна складывает другой кусок пополам, и еще раз пополам, что-то размечает, что-то чертит, затем отбирает у Таси железку и, пошвырвав сю по батарее, принимается за раскрой верха.

Шьют по очереди. Иголка одна — не дай бог сломать! — сукно грубое, наперстка нет, а нитки, надерганные из простежки ватина, не очень прочны. Однако к вечеру тапочки почти готовы.

— Шик-блеск, туфли-лодочки, — говорит Зина, но Зинаида Борисовна недовольна. Она отрезает на своем пальто полoderжатель, распарывает его вдоль, разглаживает ногтем и разрезает на две узкие полоски: это будет окантовка. Еще час, исколотые пальцы — и полное удовлетворение: Тася обута!

Взглядом художника оценивая свое произведение на Тасиной ноге, Зинаида Борисовна говорит:

— Надо бы, конечно, двойную подошву, но кто знает — может, бурки еще понадобятся... Мы их простегаем заново — ну, чуть холодней будут... А если что — вырежешь по этой подошве новую. Ты уже знаешь как.

«Может, понадобятся...» Тася не сразу понимает, что означают эти слова. Господи, неужели понадобятся?!

Но тапочки получились в самый раз.

А ночью приснился Тасе странный сон: будто стоит она посреди голой рыжей степи, рыжая земля покрыта плешивой, низкорослой, выгоревшей травой, и Тася будто бы знает, что называется это — Монгольская Степь. А у дороги, как непонятный древний памятник, — огромная раскрытая книга, наверное, в два, а то и три Тасиных роста, и невидимая рука листает ее страницы. Наконец страницы замирают, и Тася видит на левой внизу странную картинку, рыжую и мутную, как выгоревшая фотография. На ней та же степь, та же дорога, у дороги кубический постамент, и на нем нечто нелепое — то ли сапог, то ли валенок, повернутый направо, — и каменная надпись по пьедесталу: «Бурки, идущие на восток». А на правой странице, тоже внизу, такая же рыжая картинка, только на постаменте какой-то каменный лапоть, носком



влево, и надпись гласит: «Сандалии, идущие на запад». И все. Очень странный сон.

Корнеевна, прикладывая к подбитому глазу мокрую тряпочку, сердито говорит:

— Чорт-ті й що і до чого!..

А молдаванка, сощутив синие глаза, авторитетно возражает:

— Все предельно просто. Сон вещий: сюда брела по холоду, обратно пойдешь по теплу.

— Не знати тільки, через скільки год, — бормочет Корнеевна, отжимая тряпочку.

Следующий допрос проходит нелепо и оскорбительно. Капитан Белый требует от Таси сведений о Богодуховской шпионской школе. Тасе, охрипшей и уставшей повторять, что она никогда не была в Богодухове, начинает казаться, что все это бред, что ее допрашивает сумасшедший. Или это она свихнулась, потеряла рассудок? При чем тут Богодухов, откуда эти фантазии? Она подписывает сумбурный, бестолковый протокол, и капитан отправляет ее в камеру.

Ее все раздражает в этом человеке — круглое незначительное лицо, сухой, жестяной голос и, наконец, то, что каждый раз, допрашивая, он сажает ее далеко от стола, посреди комнаты, и она, отвечая, не видит его лица, его глаз...

За что — ну за что от нее отказался старший лейтенант Алеша?

Наутро Тасю выкликают с вещами.

Построение и поверка во дворе КПЗ. Тася с грустью оглядывает дворик: вон в ту калитку надзиратель водил ее за водой — как на свободу...

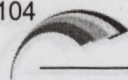
От ворот мимо строя спешат на работу следователи — все по-разному, у каждого своя походка... Еще не «при исполнении», еще не успели надеть служебную одинаковость...

Грозный Синий Костюм, оказывается, сильно хромает. В коротких переходах по коридорам кажется, что это просто такая манера — ходить враскачку, но здесь, когда он торопится через двор на виду у всех, ясно, что он раскачивается, чтобы скрыть хромоту.

Шагает Алеша, бывший Тасин следователь, — крупно, красиво, молодо, так откровенно, так беззастенчиво счастливый; пробегает на кривых пружинистых ногах какой-то незнакомый капитан, и вот аккуратными, быстрыми шагами — словно ему чуточку жмут сияющие сапоги — проходит, не глядя на Тасю, капитан Белый, ее враг. Это он каждый раз забрасывает ее колючими, обидными вопросами, это он отправляет ее сейчас обратно в тюрьму!

«Хоть бы ты споткнулся, окаянный! Хоть бы споткнулся!» — ворожит Тася. И вдруг, перед самым строем, он действительно спотыкается — ура! Чертыхнувшись, он поднимает глаза и встречается с Тасиным ликующим взглядом. Глупо, конечно, но ведь споткнулся же!

Строй выводят за ворота, конвой забегает по сторонам. Заключенные не спешат, и конвойные не очень ретиво их подгоняют. Привычные чистопольцы рассеянно провожают колонну взглядом: эка невидаль!..



Тася бережно ставит на мостовую ноги в самодельных тапочках. Главное — не шаркать, не истирать суконную подошву!..

...Когда-то, давным-давно, в той жизни, папа рассказывал, как, еще гимназистом, подрабатывал репетиторством. У матери их было пятеро: старшая дочь окончила курсы фребеличек и служила гувернанткой в доме богатого заводчика, а трое сыновей-погодков (младший, Шурик, не в счет) на время гимназических вакаций нанимались натаскивать ленивых помещичьих отпрысков, над которыми висели осенние переэкзаменовки.

Случалось, если очень повезет, «господина учителя» приглашали в усадьбу на все лето, на полный пансион (если лоботрясов в семье было несколько), но чаще «господин учитель» шествовал босиком по пыльным загородным проселкам, вооруженный на всякий случай палкой от собак и бодливых коров, и гимназические ботинки, связанные шнурками, болтались у него за спиной. Подходя к усадьбе, он мыл ноги в речке или в придорожной канаве, обувался и, осторожно ступая (главное, не шаркать), предстал перед очередным оболтусом. Бедный папа, милый, бедный папа, знал бы он, где и как пригодится Тасе его нищенский опыт!..

В камере душно и вонько. С верхних нар чей-то вдохновенный голос сообщает: — А я люблю молозиво. До чего только я люблю молозиво!

И сразу в разговор включаются еще любительницы этого непонятного продукта, наперебой, взахлеб, вспоминая, как это вкусно. Тасе представляется, что оно должно быть похоже на мороженое — что-то сладкое, молочное, молозиво-морозиво! А оттого, что корова дает его только раз в году, после рождения теленка, оно представляется чем-то особенным, праздничным — как куличи на Пасху или кутя на Рождество!..

Вот выйду на волю, думает Тася, все наладится — хорошо бы тогда пожить в деревне или где-нибудь на окраине... Завести корову, утром доить ее в звонкое ведро, ставить пахучее молоко в знобкую темноту погреба... Парное? Нет, парного она пить не будет, парное, что там ни говорят, это как-то неприятно: оно как бы не совсем отделено от коровы, еще хранит ее дух и тепло — а вот когда досташь из погреба холодную, влажно запотевающую кринку с застывшим верхком!.. Или из печи — духовитое, с тонкой коричневой пленкой, розовато-смуглое топленое молоко.. А сметана! А творог — тяжелый, влажный, в сеточке отпечатавшейся холстинки... и вообще — сколько есть на свете замечательных вещей, в которых присутствует молоко! Те же каши, например. Удивительно — почему ты их раньше не любила?

Подумать только: каша рисовая, каша пшенная, каша манная — и все на молоке! Манную кашу, которую папа варил, Тася терпеть не могла, а вот в школьной столовой манка ей нравилась — у нее был какой-то особенный вкус и запах. Тася молча огорчалась за папу: почему у него никогда так не получается? А оказалось — в школе всегда пригорало молоко...

А то еще бывает какая-то гурьевская. Ее, наверное, тоже на молоке готовят — Тася точно не знает. Всезнающая Виктория, такая красноречивая, когда речь идет о еде, о гурьевской каше говорит только «О-о!» и, самозабвенно запрокинув голову, закатывает глаза: нет слов для выражения!

Впрочем, кисель со снежками, гурьевская каша — это все волшебные фантазии, но вот простая гречневая с холодным молоком! Роскошная, рассыпчатая, из поджаренной гречки — Боже мой!..

— О чем задумалась? — спрашивает Зина, подсаживаясь на нары.

— О корове, — безнадежно вздыхает Тася.

...До чего изнуряет этот проклятый голодный понос! Эта сухая, шелушащаяся кожа, эта сыпь на языке и кровавые прожилки в параше — когда это кончится!

— Так то в тебе дрисня така з кров'ю, — формулирует открытие любознательная Корнеевна, — а я ж думаю — і де воно береться? Сама ледь жива та тепла, а краски йдуть! А тоді дивлюся — ні, щось дуже довго. Чого ж ти, дурна, дохтуру не скажеш? Це ж ти так кров'ю сплиवेश...

Никогда, нет, ни за что не станет она говорить с Дьячковым о таких вещах! В том уголке, который отведен ему в Тасиной душе, нет им места!

А вот ведь не всех эта хворь одолевает — больше тех, кто, как Тася, еще до эшелона оголодал: ни Маруся Купина, ни Виктория, ни Елизавета Андреевна, ни Даша — никто из них поносом не мается...

— Слушай, — это опять Зина, — как ты думаешь, долго еще? Что тебе твой говорит?

— Что говорит? Гадости всякие — больше ничего!

— А знаешь, что я думаю? Пусть бы уже осудили — только бы скорее! Осудят — пошлют в лагеря, хоть на работу будешь ходить, на воздухе будешь, двигаться... А теперь и вообще, говорят, любой срок могут передовой заменить.

— А если прямо сейчас попроситься?

— До конца следствия? Ничего не получится. Подследственных не берут, это точно. Только осужденных.

А если все-таки?.. Надо спросить, обязательно надо спросить!

— Понимаешь, я чего боюсь, — шепчет Зина лихорадочно, — у кого дела серьезные — ну, там дезертиры, полицаи или Корнеевна наша — этих в первую очередь разбирают. Разобрали, осудили — и на фронт. А там уже все от тебя зависит. А такую мелкоту, как мы с тобой, могут до конца войны продержат. Елизавета Андреевна знает, раз говорит. Вон тебя сколько на допросы не вызывали — почти четыре месяца? И еще четыре могут, очень просто, и четырежды четыре. А там уже, что ни решат — пусть даже без суда выпустят, — все равно не отмоешься. Сидела в тюрьме? Сидела. А зря у нас не сажают. Как тогда докажешь, кто ты есть на самом деле, если война уже кончится?

И правда — как тогда докажешь? На фронте — тут уж Тася за себя спокойна. Она себя покажет. Она не струсит, медсестрой, санитаркой пойдет, раненых из огня выносить будет. Ведь справляются другие, выносят — и поменьше Таси ростом! Надо только приловчиться. А перевязки она хорошо делает — в госпитале все хвалили. Говорят, на фронте и осужденные, и штрафники — до первой крови. До первого ранения. Пролил кровь за Родину — значит, оправдался. Переводит из штрафной в нормальную часть, и никакой судимости на тебе — чист! Ну а если убьют... Тут уж никто твою тюрьму вспоминать не станет: погибла за Родину, пала смертью храбрых...

— Тася, ты как думаешь — пойдет мне военная форма?

— Да ты что, Зина, о чем разговор! Военная форма, она всем идет! Особенно теперешняя, с погонами!..

Странно все-таки — погоны! Как в царской армии. Но красиво!

— Сказано — дурень думкою багатіе! — доносится из угла.

Тася смеется: шо багатіе, то багатіе! И сама удивляется: кажется, в первый раз за время следствия засмеялась?

На верхних нарах оживление: там рыжая молдаванка гадает желающим по руке. Сошурясь, рассматривает протянутую ладонь, собирает кисетиком розовые губы, словно леденец сосет, и, помолчав, изрекает свои пророчества.

— Ну что, Анастасия, поворожить, что ли? Давай, пользуйся случаем, пока я добрая, пока ручку золотить не надо, — мурлычет гадалка, смешливо раздувая ноздри.

Не без внутреннего сопротивления Тася протягивает узкую ладонь. Прохладные розовые пальчики разглаживают темноватые линии Тасиной судьбы, и неприятный холодок вползает в душу.

— Везет тебе, девушка, на мужское внимание, — поет гадалка. — Большая любовь около тебя ходит, до конца жизни — только счастлива, прости меня, ты не будешь. Любима будешь, счастлива — нет. Никогда. И будут к тебе люди тянуться, и успех будет, а от одиночества не уйдешь. И вообще, дорогая, не взыщи: рука у тебя — для романа, а не для жизни. Уж больно на ней драматизма много нарисовано. Взгляните на эту красотку, Зинаида Борисовна, — как по-вашему, на кого похожа? Пошарьте, пошарьте по литературным ассоциациям?

Зинаида Борисовна озадаченно поднимает брови.

— Вы же словесница, мадам! Поднапрягитесь! Не пожимайте плечами. Это же натуральная шолоховская Аксинья!

— Ну уж, простите! — сердится Зинаида Борисовна. Ей этот разговор явно не по душе. — При чем тут Аксинья! Та — взрослая женщина, зрелая женщина...

— Не скажите, не скажите! А глаза? Те же трагические глаза...

С одной стороны, Тасе льстит, что она похожа на литературную героиню, что у нее, как у Аксиньи, трагические глаза, но с другой — что она говорит, эта рыжая пророчица?! Как это она, Тася, не будет счастлива, если вся ее коротенькая жизнь была одним долгим ожиданием счастья? Зачем тогда все, зачем она родилась, если счастья все равно не будет? Что бы ни случилось плохого, что бы ни обрушивалось на нее, она сжималась в комочек и все равно ждала. А если ждать нечего — тогда как же? Тогда зачем?..

— Ну ладно, — тянет своим мелодично-гнусавым голосом жестокая гадалка, — ладно, чего расстроилась? Это ведь так — шутка, игра ума, для времяпрепровождения...

Но растерянные Тасины мысли вдруг пронзает острая игла памяти: желтый электрический свет перед клубом обувной фабрики, ярко-зеленые в этом свете кудри тополей и красивая, быстрая цыганка с круглыми золотыми серьгами в ушах. Тасина сестра и ее подруга, девочка из соседнего дома, взволнованные,

взбудораженные тайным приключением, сгорающие от нетерпения хоть краешком глаза заглянуть в свое будущее — а в потных кулачках зажаты мужественно накопленные кисло пахнущие медяки...

Складный, распевный говор цыганки — и жгучее желание: а я? а мне? И, словно услышав эту немую мольбу, сестра великодушно сказала:

— И ей погадайте, ей тоже — у меня еще деньги есть, — и протянула гадалке горсточку тусклых монет.

Но цыганка, едва взглянув на протянутую ладошку, покачала смоляной головой и надменно отстранила вознаграждение:

— Не буду гадать: черная у нее судьба. И денег мне твоих не надо.

Это было, было, было — Тася отчетливо помнит, как качнулась в свете фонаря пышная сборчатая юбка, как полыхнула цветами яркая шаль... И еще — острое чувство обиды и страха, и смущенные, растерянные лица старших девочек...

А вдруг правда? Ведь обе, не сговариваясь, — тогда и теперь?..

— Поди сюда, — заговорщическим жестом подзывает Елизавета Андреевна, — смотри! — и разворачивает аккуратно свернутую белую тряпицу.

Чудо! Ласковые-ласковые крошечные варежки, и шапочка, и шарфик — все любовно вывязанное Зинаидой Борисовной.

— С подарками приду, — довольно говорит Елизавета Андреевна. — То-то обрадуются!

Конечно, такую замечательную женщину очень скоро выпустят — тем более, муж — орденоносец... Конечно же, Тасе будет ее не хватать — но что поделаешь. Тасю ведь тоже должны выпустить. Когда-нибудь. И тогда Тася ее найдет — такого друга нельзя терять. И Зинаиду Борисовну найдет, в ее Великом Бурлуке. А с Зиной они, может, и вообще не расстанутся: вместе пойдут на фронт. Больше никого из камеры Тася на воле искать не будет. Маруся Купина — она умная, сильная, но все-таки совсем другая, она — чужая, хоть и вместе они от самого Волчанска. И к Тасе она относится не то, чтобы плохо, но как-то обидно, снисходительно. В общем-то она, пожалуй, права: у нее все четко, все по делу, она вся как рейсфедером вычерчена — никакой неопределенности. Быстрота, сметливость и точный расчет. А у Таши что? Так, акварельные разводы — мечтания, воображение, а здравого смысла ни на грош. И вот ведь что странно: училась прекрасно, на всю школу гремела. Всеобщая гроза, строгая Юлия Ивановна, учительница русского языка и литературы, воздевала персты, как боярыня Морозова, и, стуча тростью, пророчила: «Помяните мои слова: это будущий гений!» Физик Антон Александрович, по прозвищу Атом, говорил: «Физика — наука мужская, но история знает исключения. Десять отборных мальчишек отдам, не глядя, за одну Анастасию Гарднер!» И что толку? Скажите мне — что толку? Не состоялся будущий гений! Ни один признанный школьный дурачок, такой, как Женька Дробот или Ленька Миндарь, за всю жизнь, наверное, не наделает столько глупостей, сколько Тася может натворить за неделю. Зинаида Борисовна говорит, что у дурака на это просто не хватит фантазии. Слабое утешение, конечно. Одним словом, Маруся недаром говорит с ней покровительственно: бестолковая Тася в жизни — как в лесу! И все-таки не тянет ее к этой трезвой ясности — нет, не тянет! Не станет она разыскивать Марусю на свободе!..

Целую неделю капитан Белый не вызывает Тасю на допрос. Ей уже начинает казаться, что перед ней на замкнутой ленте прокручивается один и тот же день, одни и те же мелкие события, одни и те же слова проговариваются снова и снова — только лица дежурных надзирателей по очереди меняются в прорези кормушки...

Наконец — «Гарднер, с вещами!» Ура, в КПЗ!

Оттого, что тебя ведут под конвоем, стыда уже не ощущаешь. Конвой — это совсем незначительная плата за право идти по зеленым улицам, смотреть на людей, на птиц, на линялые афиши, на небо в легких облачках, на трехцветную кошку, перебегающую дорогу, и на пушистую серую, дремлющую на поленнице дров, на прохожих, которых никто не поворачивает лицом к стене при твоём приближении, и на таких же, как ты, подследственных, которых в тюрьме держат от тебя в таком секрете и с которыми здесь можно даже рискнуть перекинуться парой слов. Ну так прикрикнет конвойный — ну и что?! Других последствий это иметь не будет — разве что конвойный попадется очень ретивый. Такой может и прикладом огреть, конечно. Ну, огреет — и что из этого?! Не убьет ведь!

Ах, какая досада, что она плохо видит! Очки так и остались дома, на папином столе — Тася стеснялась их носить. Поэтому воробей для нее только тогда воробей, когда близко, а так — птица. И лица неузнаваемы, и афишу нельзя прочесть, если издали, а поближе — только крупный шрифт. Зато, по той же причине, Тася привыкла ходить, как королева, с гордо поднятой головой — все равно ведь под ногами ничего не видно (а там, между прочим, столько интересных вещей!).

Вот уже и ворота КПЗ — их расторопно отворяет охранник. У ворот, в пыли, подсолнуховая лузга: верно, дежурный грыз семечки от скуки. Уже и не вспомнить, как они пахнут, жареные семечки... Коротенький строй заводят во двор; во дворе еще раз выстраивают на перекличку. Здравствуй, КПЗ!

Пожилой надзиратель — тот самый! — чуть заметно подмигивает Тасе. Все-таки везде есть хорошие люди — даже в тюрьме!

— Так значит, отец умер первого мая сорок второго года? — начинает допрос капитан.

— Да, а что? — отвечает Тася, несколько озадаченная нетрадиционным началом.

— Трудно было без отца?

Что-то дрогнуло и потеплело внутри: наконец-то понял! Тася поднимает на следователя увлажненные благодарностью глаза:

— Невыносимо...

Так хочется довериться этому человеку — так хочется кому-нибудь довериться!..

И вдруг — как щелчок мышеловки:

— И тогда вы вступили в сожительство с немецким офицером. Так? Когда вступили? — вопрос догоняет вопрос быстро и деловито, и стены сдвигаются, стискивают Тасю белыми плитами, и потолок провисает, готовый упасть... Вот тебе и сочувствие, вот тебе и понимание!

— Как вы можете, как вы смеете! — вырывается у Таси хрипло и бессвязно, но капитан осаживает ее мелким движением желтоватой руки:

— Сядьте, сядьте, не надо драматических эффектов. Я все смею. Нам известно, что после смерти отца вы вступили в сожительство с немецким офицером. Да или нет?

— Вам обо мне известно больше, чем мне самой.

— Так да или нет?

— Я уже все сказала, — устало говорит Тася.

— А если мы назначим медицинское освидетельствование?

Надежда — ослепительная надежда ракетой вспыхивает перед Тасей:

— Назначайте!

— А потом что? Что ты тогда скажешь? Будешь рыдать, как Виктория Барышева — что был у тебя русский Ваня, а немец тут ни при чем?

Тася срывается с места — с этого дурацкого табурета посреди комнаты — и кричит:

— Я требую, слышите, требую медицинского освидетельствования! И требую, чтобы вы передо мной извинились!

— Ты смотри — какие нежности при нашей бедности! На коленях прикажете прощения просить? Учти, между прочим: у нас теперь есть с Харьковом связь — можем запросить, если что.

— И прекрасно, — рычит Тася, — тем лучше! Запрашивайте Харьков, кого хотите запрашивайте, а я не желаю больше вам отвечать!..

— Вот и ладненько, — неожиданно миролюбиво говорит следователь. — Подпиши протокол.

Назавтра вместо капитана за Тасей приходят две женщины с офицерскими погонами и ведут ее в ту самую комнату, где ее допрашивал старший лейтенант Алеша. В дверях они сталкиваются с каким-то следователем, выводящим заключенного.

— Еще одна девица? — ухмыляется он. — Освобождаю помещение.

Тасю бросает в жар.

Другой следователь, ничего не спрашивая, молча собирает свои бумаги и подталкивает подследственного к выходу. Дверь за ними закрывается, и одна из женщин говорит:

— Раздевайтесь. До пояса. И побыстрее.

Тася нерешительно трогает пуговицы кофты.

— Вы что? Снизу до пояса. И ложитесь на стол.

Тася стягивает несвежие, рваные штанишки и ложится на холодную, заляпанную чернилами коричневую клеенку, покрытую, как от озноба, крупными пупырышками.

— Поднимите юбку. Согните ноги в коленях. Разведите. Ну, пошире!

Одна из женщин, неприятно поджав губы, вырывает листок из блокнота.

Тася крепко, до оранжевых пятен, зажмуривает глаза и прикусывает губу. Во рту становится терпко и солоно. Чужие бесцеремонные руки грубо раздвигают ее коленки, брезгливо, через бумажку, прикасаются к самой сокровенной плоти.

— Есть? — спрашивает одна.

Тасю охватывает страх: бывают ведь врожденные патологии? Или, может, с ней

в детстве случилось что-нибудь, какая-нибудь травма, о которой ей не говорили?

— Есть, — отвечает другая. — Да, есть, можете одеваться.

Тася поднимается, чуть живая от пережитого ужаса, но строгий голос звучит смягченно, совсем доброжелательно:

— Может, у вас есть к нам какие-нибудь просьбы? Мы ведь врачи.

Смятая стыдом, Тася жалко лепечет:

— Если можно, что-нибудь от поноса. Совсем замучил. С кровью...

— Хорошо, — говорят ей, — дадим вам что-нибудь от поноса. Ступайте.

Выходя, они снова сталкиваются с тем же любопытным следователем.

Пропуская вперед нового подследственного, он вопросительно и нечисто взглядывает на Тасю. Сжав челюсти до скрипа, Тася надменно отражает его взгляд.

Камера встречает ее оживлением.

— Ну что, Анастасия, показала им?

— А что там смотреть? Где они, те целки, сегодня? Их сегодня и с фонарем не сыщешь.

— Да перестаньте вы! Не видите — на девчонке лица нет.

— Может, и не только лица — еще кой-чего нет?

— Прекратите, бабы! Не слушай, Анастасия, ложись, отдыхай. Пусть языки чешут, кому делать нечего.

Спокойно, Анастасия, спокойно! Что-то, а зареветь тебе сейчас никак нельзя.

Тася спускается на нары, мысленно твердя: *sehen, sah, gesehen; gehen, ging, gegangen; sterben, starb, gestorben; finden, fand, gefunden...*

Хорошая вещь неправильные глаголы, очень помогают, когда непозволительно хочется зареветь...

...Да, лифчик на тебе совсем истлел, но, если пораскинуть мозгами, можно, наверное, что-то сообразить из двух носовых платков. Платки большие, папины — какие тогда под руку попались. Сейчас они будут ой как кстати. В крайнем случае, можно будет отрезать подгиб от подкладки пальто. Обойдется без подгиба. Расстелем все на полу — благо пол чистый, сама мыла — и обмозгуем....

Тася с удовольствием располагается на чистых прохладных досках. Ах, как они в детстве любили играть на полу! Какое-то в этом особое удовольствие — и чем это объясняется, совершенно непонятно.

Тася не успевает ни обдумать этот вопрос, ни расстелить платки для раскров, потому что дверь открывается и в камеру, раскачиваясь, входит Синий Костюм. Не выражая ни малейшего удивления, как будто это так и принято — сидеть на полу посреди комнаты, он обходит Тасю и обращается к сидящим на нарах:

— Жалобы есть? Претензии к следственной группе? По содержанию в камере предварительного заключения?

Претензий и жалоб, разумеется, нет, и Синий, не держа паузы, поворачивается к дверям.

— А вы, если не ошибаюсь, Гарднер, — словно только сейчас ее заметил, обращается он к Тасе. — Вы чего нос повесили?

Глядя на него снизу вверх, Тася обалдело отвечает в прямом физическом смысле:

— Наоборот, задрала.

Хмыкнув, Синий окидывает ее заинтересованным взглядом и, походя, роняет:

— Ну что ж, может, и не без основания.

И, припадая на правую ногу, перешагивает порог.

— Ты смотри — значит, и правда — целка, — озадаченно реагирует Нюрка-беленькая...

...Опять Белый. Он приходит за Тасей как ни в чем не бывало и даже насмевается что-то, идя вслед за ней по коридору.

На этот раз он жестом предлагает ей сесть на табурет около стола, не спеша перекладывает какие-то бумаги, трогает зачем-то вставочки и карандаши и наконец, утомившись, поднимает на Тасю безмятежные глаза:

— Итак, что вы имеете мне сказать?

Ах так? Хорошо! Тасю устраивает этот неожиданный ход, она им воспользуется.

— Я хочу сказать, что если вам так нужно, можете написать, что хотите, — я подпишу. Мне все равно — лишь бы скорее.

Благодушие запекается на его лице багровой коркой возмущения:

— Вы что мне предлагаете? Кто вам дал право? Я советский офицер!

— А меня оскорблять вы можете — вы, советский офицер? Вам, значит, дано такое право?

— А-а, черт! — капитан отшвыривает в сторону половинки сломанного карандаша. — Так то ж вопрос — ты что, не понимаешь?

— Не понимаю, — с холодной яростью упирается Тася. — И еще — не перебивайте меня! — я хочу вам сказать...

И выкладывает капитану все, о чем говорили с Зиной: о преимуществах лагеря перед тюрьмой, о замене срока штрафным батальоном, о том, что под следствием могут продержат до конца войны...

Капитан, на удивление, слушает не перебивая, а когда Тася, переводя дух, умолкает, спрашивает:

— Интересно, откуда у вас такие сведения? Вроде бы в СИЗО находитесь — следственном изоляторе. Или это собственные умозаключения?

Нельзя выдавать Елизавету Андреевну — станут допытываться, откуда та узнала.

— Собственные, — с апломбом заявляет Тася.

— Любопытно, — тянет следователь, — сама, значит, придумала? Значит, на фронт хочешь?

— Хочу, — вспыхивает надеждой Тася. — А можно?

— Кому, может, и можно — только не нам с тобой. Нам с тобой потерпеть маленько придется. Ты мне лучше вот что скажи: ты из членов комиссии никого раньше не знала?

— Какой комиссии?

— Ну вот, которая тебя осматривала — знакомых не было?

— Нет, откуда же? — недоумевает Тася.

— Ага, нет, значит. А вот эта подпись тебе знакома?

Опять подпись? Та же самая, что ли?

Опять он придвигает ей какую-то бумажку, прикрыв ее сверху листом протокола, так что видно только подпись внизу. Тася пожимает плечами и качает головой.

— Так-так. А эта?

Тася еще энергичнее мотает головой.

— Ну как же — это ж, можно сказать, главный документ, которым располагает следствие.

Капитан протягивает ей излохматившуюся бумажку — ту самую злополучную справку без печати: «Дана настоящая Гарднер Анастасии в том, что она работала младшей поддежурной медсестрой...» И подпись: «Дежурный врач» — с нехитрой закорючкой.

— А та, другая?

— А это заключение комиссии: девственность, так сказать, сохранена. И подпись, гляди-ка, можно сказать, та же. Чудеса, а?

— Не знаю я их, этой комиссии, — мрачно говорит Тася, готовая к любому подвоху.

— Да нет, откуда тебе. Но подписи — а? Чудеса! Ну, ладно, побеседовали мы с тобой — наговорились вроде. Будем заканчивать следствие.

Тася напрягается — что дальше? Что будет дальше?

— Кстати, а в камере ты с кем делилась? Друзья у тебя были в камере?

— А как же: Жигалова Елизавета Андреевна, Трифонова Зинаида Борисовна, — с воодушевлением начинает перечислять Тася, радуясь, что наконец можно поговорить о чем-то хорошем.

— Эх ты, голова-два уха, — перебивает ее следователь, иронически качая головой. — Впредь будешь осмотрительней друзей выбирать. На-ко вот.

И пододвигает ей лист, на котором крупным красивым почерком написано: «В личной беседе неоднократно говорила, что после смерти отца вступила в сожительство с немецким офицером, который в дальнейшем склонил ее...» У Таси мутилось в глазах, красивые строчки наезжают друг на друга, потому что внизу, поперек страницы щеголевато разбежалось: Е. А. Жигалова. Вот так!

— Вот так, — говорит следователь. — Будешь знать, кому доверяться.

— Я же никогда... я такого, — задыхается Тася. — Я же ей о папе, о госпитале рассказывала...

— Может, еще скажешь и о школе богодуховской ей не говорила? — смеется следователь.

— Да я знать о ней не знала — от вас здесь в первый раз услышала!

— Вот видишь, а Елизавета Андреевна знала. Интересно получается?

У Таси тяжелеют руки и ноги, и не то чтобы хотелось плакать, а просто не хочется дышать.

— Как она пела, если бы вы знали, — безнадежно выговаривает она. — Как в детях своих говорила...

— Ну ладно, ладно, — торопливо успокаивает ее капитан. — Ну, обожглась. Ну, будет. С другой стороны, обязаны мы были к ней прислушаться? Материлов-то по твоему делу всего ничего... За что-то ведь тебя арестовали? А Жигалова, видать, женщина сообразительная — старалась, авторитет нарабатывала...



— Как она пела... — бессмысленно повторяет Тася.

— Так что — ознакомиться с делом желаешь?

Тася горько машет рукой — чего уж там!

— Ну, как знаешь. Тогда подпиши вот здесь. И не поминай лихом.

Тася подписывает. Рядом с подписью шлепается крупная слеза. Бумага в этом месте вспухает. Рука медлит, как будто в раздумье, но следователь выхватывает листок и прихлопывает слезу розовой ученической промокашкой.

— Будет, будет. Пошли, отведу. А Харьков, между прочим, правда освободили. Двадцать третьего августа. Это я тебе не соврал.

— Спасибо, — шелестит Тася.

В дверях капитан Белый пропускает Тасю вперед и последний раз внимательно вглядывается в ее лицо.

И опять построение во дворе КПЗ. И опять мимо строя торопятся на работу следователи. И капитан Белый, пробегая мимо, улыбается Тасе и негромко бросает ей одно слово: «Домой!» Непонятно — вопрос или утверждение? И если утверждение — то что оно значит? «Домой» — в тюрьму? Или «домой» — на волю? На Украину? В Харьков? Может, еще оглянется? Нет, не оглянулся...

Этап выводят со двора. Прощай, КПЗ! И вы, капитан Белый, непонятный человек, — прощайте! Теперь остается ждать.

Напрасно все-таки не стала читать... Эх, где ты, Веня Каратаев?!

В тюрьме полно новостей — камера так и бурлит новостями. Харьков? Знаем! На днях перед отбоем дежурный открыл кормушку и — как подарок — нате: «Кто тут из Харькова? Харьков ваш взяли! Курск, Орел, Белгород, Харьков!» Жигалову увели, с вещами — на волю вроде. Подхватила, сучка, и не попросилась ни с кем. Корнеевна — та плакала. Засудили, наверное, Зинаида Борисовна в лазарете, сердце. Приступ был тяжелый, Дьячков приходил. Дашу и Марусю Купину в КПЗ увели — не встретились по дороге?

Зина, грустная, выслушивает Тасин торопливый рассказ об экспертизе, о Синеке Костюме, о капитане Белом, о Елизавете Андреевне. Глаза-виноградины сочатся грустным-грустным теплом:

— Вот видишь, оказывается, совсем он не такой черный — твой Белый, как тебе казалось. Отпустят тебя, вот увидишь. Только не рассказывай пока никому — а то, может, тут не одна Елизавета Андреевна трудилась, найдутся еще старатели. Эх, вовремя ушла! Как бы она тебе в глаза глядела? Это ж, как говорится, «у Сірка треба очі позичати!» Подожди, а не потому ли она советовала все подписывать? Это ведь на нее сработало бы. А как пела!

— Как пела... Интересно, кого она еще осчастливила. И ведь хватало фантазии!

— Слушай, а может, ее осудили?

Неожиданный поворот — такое Тасе и в голову не приходило! Неужели? Да нет, не может быть. А что мы о ней знаем?

...Ждать... Нелегкая это, оказывается, работа! Мысли скачут, дергается внимание. Все взвинчено, легко ссорятся, легко плачут, вскрикивают во сне — все пришло в движение!

А Тасе опять приснился удивительный сон. Большая столярная мастерская — верстаки, верстаки, верстаки — была такая у Таси в школе! И слесарная была, и электрорадиолaborатория, и кинокласс даже был — вот как расстарались шефы-заводы! Одна такая школа была на всю Украину — и Тасе так повезло. Правда, потом школу разогнали, потому что преподавание было построено на лженаучных принципах, а здание, со всем оборудованием, отдали под артиллерийскую спецшколу — но те, кому хоть немного, хоть в самых малышатских классах, как Тасе, довелось учиться в «обласній, досвідній», вспоминали ее как неповторимый учебный рай.

Так вот, Тасе приснилась столярная мастерская. На полу кудрявая золотая стружка, пахучая сосновая стружка по щиколотку. Тася обмахивает новенькие верстаки и плотным новеньким веником, с которого еще не осыпались просяные зерна, подметает это веселое, шуршащее золото — прямо жалко его сгребать! Так осенью бывает жалко, когда с тротуаров сметают золотые и багряные осенние листья. И кому они мешают? Пусть бы лежали, шуршали под ногой, пахли горечью прощания с летом...

Но мастерскую надо убрать, потому что, Тася знает, скоро придут гости — и она спешит, и дело спорится в ее руках. Потом она приносит тяжелый сопящий самовар; он горит начищенной медью в тон сияющим сосновым верстакам, и ставит его Тася на один из них, потому что стола вроде бы нет, а к самовару — пестрой компанией — петухастые фаянсовые кружки. А потом зачем-то — то ли охладиться от спешки, то ли остудить нетерпение — выходит в темный влажный сад. Бархатная чернота ласкова, но непроглядна, и Тася, радуясь собственной находчивости, осторожно ловит медлительных мерцающих светлячков и бережно сажает их, как пряжки, на носки самодельных суконных тапочек. Слабый голубоватый свет чуть освещает дорожку: на шаг перед ногой, и Тася смеется от радости и ловит светлячков еще и еще, и украшает ими волосы — пусть освещают лицо, чтобы гости могли увидеть ее даже в темноте...

Счастливая, чуть отсыревшая, она возвращается к верстакам, потому что уже пора — и в ту минуту, когда она входит из влажного темного сада в желтый свет мастерской, открывается противоположная, главная дверь и входит папа в черной железнодорожной шинели и кожаном летчицком шлеме. На усах его и на стеклах очков блестят капельки дождя. Какое счастье, что он опять живой — а может, он и не умирал вовсе? Ведь вот эта шинель — ее подарил ему Лазарь Юфит, когда поступил в железнодорожный институт. Косолапый синеглазый крепыш, пятый ребенок в полуграмотной еврейской семье, Лазарь рос как бурьян под забором. Школа не выдерживала конкуренции с улицей; Лазарь был грозой окрестных мальчишек и школьных учителей и уже в пятом классе как трудновоспитуемый был зачислен в так называемый дефективный класс, куда сердитая наука педология позволяла школе списывать плачевный брак педагогического процесса. Никто не хотел работать с «дефективниками», но папа упрямо, из года в год, добровольно брал классное руководство в «дефективных» классах. Он возился со своими «дефективниками», ходил с ними на каток, оставался с ними



после занятий, читал им свои любимые книги. Большинство из них после седьмого класса шли на завод — Лазарь выдюжил десятилетку. Это был первый выпуск «обласної, досвідної», и папа, отправив своих беспризорниц с теткой в деревню, сам остался в городе и все лето готовил своих выпускников к поступлению в вузы.

Лазарь поступал в железнодорожный — потому ли, что институт был напротив школы и по фронтому его в праздничные дни бегал замечательный паровозик, или потому, что парню хотелось, чтобы те, кто склонял его на педсоветах, видели, как «дефективник» ходит в институт — или наконец потому, что студентам в железнодорожном выдавали красивую форму? Так или иначе, Лазарь поступил, он был зачислен — и в тот же день примчался к папе, красный, счастливый, гордый до беспамятства, и приволок свою черную форменную шинель. Королевская щедрость этого подарка до немоты потрясла обоих — и папу, и самого Лазаря. Растроганный папа пытался отказаться — и тогда Лазарь заплакал. Он плакал, отпетый «дефективник», задира и грубиян, — и папа понял: нельзя! Нельзя отказываться! И принял, и с тех пор ходил в ней все время, не обращая внимания на недоуменные взгляды, усмешки и пересуды. Знакомые и коллеги пожимали плечами: чудит Владимир Иванович! А он твердо знал: так надо, пусть мальчик видит, как учитель дорожит его подарком...

Вот и сейчас он себе не изменил: даже в Тасин сон пришел в дареной шинели — как живой.

Но должен был прийти еще кто-то — и дверь снова отворилась, и на порог ступил Он. Долгополая солдатская шинель без знаков различия потемнела и даже на вид отяжелела от дождя; кое-где на ворсинках сукна еще дрожали капли. Тасе показалось, что рукава шинели Ему длинноваты: из них выглядывали только пальцы, короткие и толстоватые. Тень от козырька фуражки падала на глаза, и только знакомые по портретам усы, одного цвета с шинелью, блестели сединой дождя.

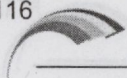
И сразу стало понятно, что ждали именно его, хотя Тася не ощутила ни восторга, ни страха, ни вообще какого бы то ни было волнения — ну, пришел и пришел, — потому что папин приход был гораздо, в сто тысяч раз важнее! Но все-таки, как радушная хозяйка, пригласила гостя жестом к столу, то бишь, к верстаку с самоваром, с досадой спохватившись при этом, что табуретка у них только одна.

Но папа покачал головой, сказал: «Нет, пора», — и, взяв ее за плечо, легонько подтолкнул к порогу. И Вождь, словно примирившись с тем, что папа тут главнее, молча отступил чуть-чуть назад, пропуская Тасю к дверям. И дверь медленно-медленно отворилась, и перед Тасей от самого порога, плавно поднимаясь к горизонту между двумя черными стенами леса, пролегла дорога, слабо сияющая мокрым асфальтом в свете редких настойчивых фар...

С такой праздничной легкостью, светлой решимостью, готовностью что-то делать Тася еще ни разу не просыпалась в тюрьме.

— Слушайте, послушайте — знаете, что мне приснилось?

И торопясь рассказывает, со смущением замечая, что в рассказе ее на передний план почему-то выдвинулся Сталин, а папа отходит в тень, и от этого Тасе становится немножко не по себе.



— На волю! — решает камера. — Дай Бог, сон в руку!

— Было бы сказано, — едко осаждает всплеск Анна Драчова.

Но когда принесли хлеб, Тася довесок съела, а пайку отложила на потом. А вдруг?..

И вдруг открывается кормушка, заглядывает надзиратель, но никого не выкликает. На секунду Тасе кажется, что рядом, в коридоре мелькнул костыль, но дверь распахивается, в камеру входят двое — Дьячкова среди них нет.

Это за ней! Еще не слыша своей фамилии, Тася спокойно оборачивается и сует в вещмешок оставшуюся пайку.

— Гарднер, — выкликает один из вошедших.

Тася привычно — имя, отчество, год рождения — откликается, затягивая шнурок вещмешка.

— Так я же не сказал с вещами, — смеется он.

Люди, он смеется! Значит, правда!

— А ей, гражданин начальник, сон такой приснился, — осмелев, поясняет кто-то.

— Ну, разве что сон! Тогда — с вещами! И Самохвалова!

— Евгения Михайловна, девятьсот восьмой, пятьдесят восемь, один «а», — отзывается Евгения Михайловна, впиваясь в начальника преданным синим взором.

— С вещами!..

Тася торопливо тычется носом в Зинино плечо. Эх, нет Зинаиды Борисовны — попрощаться...

Уже в коридоре Тася все-таки оглядывается — нет, никого... Наверное, показалось...

Их ведут мимо аккуратных цветников в заповедный белый домик. Евгению Михайловну приглашают в какой-то кабинет, а Тася остается с разводящим в «предбаннике». За дверью ничего не слышно — только временами доносится какое-то «бу-бу-бу». Тасино сердце начинает раскачиваться, как на качелях: ух! — вверх, ух! — вниз!.. Кажется, еще немного — и оно расколотит грудную клетку и виски, но тут отворяется дверь, и выходит багрово раскрасневшаяся Евгения Михайловна. Изрядно отросший ежик русых волос топорщится, как наэлектризованный. «Ни дать ни взять горбоносый индейский вождь», — успевает подумать Тася, и голос из-за двери выкликает ее фамилию.

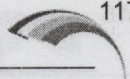
Она берется за ручку двери, дверь мирно — без звона! — отворяется. Сидящий за столом человек широко улыбается ей навстречу:

— Садитесь, прошу вас.

И Тася машинально роняет такие же нелепые в этой жизни слова:

— Благодарю вас!

Приветливым, уверенно-фальшивым тоном человек — неужели это тот самый начальник, который хотел посадить ее в карцер? — сообщает, что отныне она свободна, и выражает надежду, что она не имеет ни к кому никаких претензий, поскольку время сейчас такое, что лучше проверить десять невиновных, чем упустить одного виновного, и Тася должна относиться к этому с пониманием. И



Тася кивает, потому что действительно понимает, что возражать бессмысленно, и тогда он пододвигает к ней по столу чистенькую тридцатку.

— Это вам на первое время. Распишитесь, пожалуйста, в получении. Вот здесь.

Тася послушно расписывается и тупо разглядывает красненькую бумажку с портретом Ленина: Господи, как давно она не держала денег в руках! Она даже не знает, чего они стоят сейчас, тридцать рублей — много это или мало?

Но ей уже аккуратно подкладывают другой листок с печатным текстом. Подписка о неразглашении — зачем? Кто, спрашивается, станет хвалиться тем, что полгода просидел в тюрьме? Хотя, с другой стороны, — так и таскать эту боль в себе, как нарыв, который никогда не прорвет?

— Считайте, что этого не было, — бодро говорит начальник. — Забудьте об этом. Этого не было. В анкетах, стало быть, указывать не обязательно; желаю удачи.

— Спасибо, — вежливо говорит Тася и запоздало спохватывается: — А домой мне как добираться?

— Ну, домой — это еще рановато. Мы вот тут вас в один совхоз направляем — подкормитесь, окрепнете, а там видно будет.

И уточкой протягивает через стол вялую короткопалую руку.

— Да, вот еще: сейчас на базаре сфотографируйтесь и с фотографией зайдите в милицию. По этой справке (на стол ложится еще одна бумага) вам выдадут временное удостоверение.

«...Освобождена ввиду отсутствия состава преступления...»

Тася выходит из кабинета, пошатываясь. Чистый крашеный пол неудержимо, как палуба, качается под ногами.

Разводящий доводит ее до ворот. За воротами, у края газона, Евгения Михайловна, оживленная и кокетливая, беседует с Дьячковым, опирающимся на костыль. Светским беспечным жестом она подзывает Тасю.

— Поздравляю вас, — говорит доктор. Серые глаза его излучают ласковый свет. — Я специально просил, чтобы вам направление вместе дали. Поддержите девочку, Евгения Михайловна, хотя бы первое время!

— О чем разговор, — восклицает Евгения Михайловна, — вы не поверите, доктор, но ведь у меня дочка почти такая!

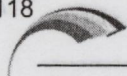
— А там, может, и домой вместе, — продолжает он.

Тася не знает, что сказать этому человеку. Тасе ужасно хочется заплакать, потому что этот день — день, который должен был быть безоглядно счастливым, вдруг оборачивается для нее днем невозвратных потерь. Зина, Зинаида Борисовна — вот теперь еще и Дьячков — самые дорогие после папиной смерти люди... И Тася молчит, боясь, что плач, глубоко запрятанный внутри, самовольно вырвется наружу.

— А стихи? — напоминает замечательный, самый лучший после папы человек. — Как с обещанными стихами?

Тасины руки беспомощно вспархивают.

— Нет-нет, — успокаивает ее Дьячков, — я понимаю, я не стану вас задерживать. У вас еще столько дел, и дорога неблизкая... Как-нибудь в другой раз. У нас



в Кормхозе вроде подсобного хозяйства, — даст Бог, свидимся. Счастливо и не забудьте про стихи!..

Он пожимает руку Евгении Михайловне и принимает Тасины пальчики в теплое гнездо своих больших рук. На легких, сухих ладонях — твердые мозоли... Ах да — костыли...

В последний раз Тасино отражение качается в круглых стеклах этих очков: держись, маленькая!..

После моментальной фотографии от тридцатки остается как раз на стакан кислого молока: хорошо, что в вещмешке притаилась пайка!

До Кормхоза четырнадцать километров, а по летнику — двенадцать. На базе им объясняют, что дорогу надо спрашивать на Кролики, а там уж, от Кроликов — на Кормхоз. Смешное название — Кролики, веселое название! Хочется, конечно, побродить, посмотреть Чистополь, но некогда — пора в путь!

Рубленные избы окраины остаются позади. Летник петляет ярами, по глинищам — совсем как тогда, под Волчанском... И как тогда, в сердце колотится тревога и неизвестность, и пробует голос неоперившаяся надежда... Ну, что же — вперед, на Кролики!..



ракурс

Журнал художественной
литературы
и общественной мысли

Выходит с 1927 г.

Выйдет 11 номеров

журнала.

10'2005

ПРОЗА

Инна МЕЛЬНИЦКАЯ.

Украинский эшелон.

Повесть

5

Владимир КАДЕНКО.

Сафари а-ля русс.

Маленькая повесть

131

ПОЭЗИЯ

Михаил ГРОЗОВСКИЙ

120

Валентина ПОПОВА

155

К	и	е	в
2	0	0	5

антология XX века

Наум КОРЖАВИН

171

ВОСПОМИНАНИЯ. ДНЕВНИКИ

Лилия КАРАСЬ-ЧИЧИБАБИНА.

"Ответим именем его..."

О Галиче и Чичибабине

160

ЛЮДИ И КНИГИ

конкурсы.рейтинги

Какие книги в Украине лучшие?

178



10.03

реформа

10'2005

ISSN 0131-8136

Инна Мельницкая

УКРАИНСКИЙ ЭШЕЛОН

Повесть

Владимир Каденко

САФАРИ А-ЛЯ РЮСС

Повесть

Лилия Карась-Чичибабина

ВОСПОМИНАНИЯ

О БОРИСЕ ЧИЧИБАБИНЕ

И АЛЕКСАНДРЕ ГАЛИЧЕ

